
Владимир АЛЕЙНИКОВ

ВОИН СВЕТА

Проза поэта

...Ветер ли свежий с востока ночью, во тьме, из глуби времени и пространства, разъятого, для кого-то, и собранного мгновенно в единый, предельно сжатый, энергетический сгусток, распахнутого, на север, на запад, на юг, на восток, и вытянутого зачем-то, как мост, посреди вселенской, в движении вечном, жизни, для памяти и для речи, для новой, желанной встречи, сюда, в укром киммерийский, в мой дом и в сон мой тревожный, где вновь чередой видений томило меня былое мое, налетел внезапно, ворвался с вестью о чем-то далеком и незабвенном, или что-то еще случилось в мире нашем, право, не знаю, трудно сразу понять и тем более трудно сразу об этом сказать, — да только с утра лежали на влажной земле, на садовых дорожках, и на ступеньках крыльца, и у двери входной, не шурша еще под ногами, под ледком еще не хрустя, раскаленные, жаркие груди воспаленных, иссиза-алых листьев дикого винограда, над которыми сызнова пели, бормотали, меланхолично и тихонько что-то играли, так прощально и грустно звучали посреди осенней, с избытком чувств, и дум, и надежд, поры, в удивленно-прохладном, чутком к звукам этим, густеющем воздухе, отрешенно-звонящие струны устремленных вперед и ввысь, по привычке давней, упругих, оголенных, устало вздыхающих, о какой-то потере скорбящих и упрямую веру таящих в предстоящее с новой весной возрождение, цепких, выносливых, вдохновенно, в любую погоду, сквозь преграды вьющихся лоз...

Игорь Ворошилов, человек исключительно своеобразный, а вернее, и это правда, уникальный, такой, каких днем с огнем не сыщешь в разброде все неожиданно переиначившего и смешавшего нашего нынешнего междувременья, за которым вижу я, отшельник давнишний, отрешенные от всего, что душа их не принимает, понимания, просто внимания терпеливо, устало ждущие, за чертою смуты бредущие к эмпириям своим наивным, огорченные, гордые тени драгоценных моих товарищей по сражениям лет

Владимир Дмитриевич Алейников — русский поэт, прозаик, переводчик, художник, родился в 1946 году в Перми. Вырос на Украине, в Кривом Роге. Окончил искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ. Публикации стихов и прозы на родине начались в период перестройки. Автор многих книг стихов и прозы — воспоминаний об ушедшей эпохе и своих современниках. Стихи переведены на различные языки. Лауреат премии Андрея Белого, Международной отметины имени Даида Бурлюка, Бунинской премии, ряда журнальных премий. Книга «Пир» — лонг-лист премии Букера, книга «Голос и свет» — лонг-лист премии «Большая книга», книга «Тадзимас» — шорт-лист премии Дельвига и лонг-лист Бунинской премии. Член редколлегии журналов «Стрелец», «Крещатик», «Перформанс». Член Союза писателей Москвы, Союза писателей XXI века и Высшего творческого совета этого союза. Член ПЕН-клуба. Поэт года (2009). Человек года (2010). Награжден двумя медалями и орденом. Живет в Москве и Коктебеле.

былых, тоже друг мой, причем настоящий, периодически, чаще ли, реже ли, но неизменно появлялся на горизонте.

Некоторые из прежних, памятных мне доселе, стремительных ворошиловских появлений, порой спонтанных, но всегда для меня желанных, поневоле хотелось сравнить с прохождением непредвиденным поистине незаконной, как Пушкин заметил, кометы или падением, с высей вселенских, в земную действительность, крупного метеорита.

Но такое, из ряда вон выходящее, по причинам, не всегда, не для всех, объяснимым, случалось не так уж и часто.

В большинстве — старшинстве — случаев появление друга Игоря скорее напоминало, да, со всеми приметам зримыми и догадками всеми незримыми, с удивительной схожестью внешней с конкретным оригиналом, с методичностью завораживающей, ритуальной, олицетворяло какое-нибудь одно из четырех времен года, удачного или до крайности неудачного, в зависимости от его, Игорева, настроения и состояния данного светлой, мятежной, мятущейся, крылатой его души.

Еще совсем ведь недавно, в прежней моей квартире, он подолгу жил у меня, помногу, в охотку, работал.

Сутками напролет вели мы с ним по традиции, сложившейся как-то сразу и принятой нами обоими как нечто закономерное, перемежающиеся с трудами, его, живописными, и моими, со словом связанными, бесконечные, словно молодость, беспредельные, словно свет, безграничные, словно мир, доверительные беседы.

Теперь обстоятельства — надо же! — негаданно изменились.

Ночлег у меня, куда надежнее, чем у других, больше не мог для него быть по возможности длительным, с наличием благ минимальных для жизни, столичным пристанищем.

В подмосковных Белых Столбах, где, так уж вышло, имелась у него захудалая комната, было ему находиться, в одиночестве затянувшимся, и в прежнее-то, посветлее, потому что моложе был, время, невыразимо тошно, а с годами, с их опытом горьким, с каждым прожитым без его любимой, желанной, единственной, без Миры, слишком далекой, живущей отнюдь не в столице, а в провинции, на Урале, напряженным, сумбурным, тяжким, в ожидании счастья растраченным, канувшим в прорву бездонную, только чаяньем и сохраняемым, только творчеством и озаряемым, годом — еще тошнее.

Он маялся там, на отшибе, один, почти что в глуши.

Его то и дело тянуло к людям, в их гущу, где было главное, то есть — общение. Какая-никакая, а среда!

Он кочевал. Приезжал в Москву, бродил по знакомым.

И мне, признаться, его так порою недоставало!

Вижу его в отдалении, высокого, высоченного, выше многих вокруг, нескладного, сутулящегося, словно стесняющегося нежданного своего появления на людях, но в то же время и полного духовных сил и физических, врожденных сил, от природы, значительного в движениях и жестах, с великолепной головой мыслителя, странника очарованного, и воина, с взлохмаченной, тронутой проседью, шевелюрой, с резко, решительно и смущенно вперед выдающимся, слегка искривленным, несколько карикатурным носом — таким хоботком смешным добродушного зверя, с полураскрытыми, детскими, шевелящимися губами и подбородком, упрямым, твердым, вдруг придающим притягательное обаяние узкому, со щеками, наспех выбритыми, лицу, из глубины которого, таинственной, недоступной для многих непосвященных, сияют умные, зоркие, пронзительные глаза.

То ли сказочный витязь, отважный, в мир на подвиги славные вышедший и застывший вдруг на распутье, то ли большой ребенок, волею судеб заброшенный в совершенно чужой, огромный, хаотичный столичный город, ужасающий, но и властно, беспощадно, неумолимо, так, что лишь вздохнуть остается да шагнуть в эту прорву хищную, притягивающий к себе.

А вернее всего, пожалуй, так: художник от Бога, призванный в мир для того, чтобы в нем, трудясь неустанно, созидать, а не разрушать.

Изобретатель, а не приобретатель, — по формуле горячо любимого им Хлебникова, делившего человечество на эти две категории.

Мазила.

К тому же — верзила.

С виду — ну впрямь грозила.

Застенчивый и неловкий, но рвущийся в бой дерзила.

«Да, я мазила», — писал когда-то, в пылу вдохновенном, в сиянии неизменном правоты высокой своей, словно странник, дервиш, мудрец на пути, ведущем к прозрениям небывалым, с вершины духовной, Ворошилов своим родителям, тревожившимся за судьбу непутевого, хоть и талантами с детских лет поражавшего всех, непохожего на других, понормальней, попроще, людей, в рядовые каноны и русла не вмещающегося, хоть тресни, озадачивающего многих, огорчающего поневоле их, отца и мать, продолжающих тем не менее твердо верить в то, что все еще образуется, что, даст Бог, дождетс я он в будущем изменений к лучшему в жизни, встанет на ноги, образумится, заведет, возможно, семью, словом, все оправдает надежды наконец, горячо любимого, но такого, каков уж есть, что поделаешь с ним, такой уродился, видать, их сына, — но вы должны знать, что этот мазила — один из лучших мазил России.

Старое, тесноватое, задрипанное пальто с протертыми, коротковатыми рукавами, мягкие брюки с разноцветными пятнами красок, дешевые, вдрызг разношенные ботинки, рубашка линиялая, мешковатый пиджак или свитер — одежда его привычная, не стоящая внимания лишнего, слишком условная оболочка, из-под которой иногда, всегда непредвиденно, заставая врасплох окружающих, вдруг взмывал, на глазах у всех, поражая, обескураживая даже виды выдавших людей, устремляясь куда-то ввысь, в небеса, ну а может, и дальше, в глубь вселенной, к мирам неведомым, к озареньям, прозреньям, чаяньям, к измерениям неземным, некий плотный, жаркий, светящийся луч ли, столб ли, — столько могучей, первозданной, светлой энергии там таилось, где-то под спудом, не понять ничего, и все тут, не проникнуть туда, внутри.

Самим собою — и только самим собою, подчеркнуто, мол, как же еще иначе, по-другому ведь быть не может, человек, да еще и художник, должен быть лишь самим собою, и никем иным, это важно, это главное, это правило непреложное, это закон, так уж в мире заведено испокон веков, — оставался он везде и всегда, в любой ситуации, самой ли сложной или так себе, пустяковой, жил, не просто существовал, рефлекслируя, прозябая, в нищете хронической, где-то на отшибе, вне досяганья, в глухомани, да и в столице, в суете, в пестроте повседневной, в тесноте бытовой, коммунальной, в толчее вагонной, вокзальной, в темноте мастерских подвальной, в пустоте окраин печальной, там, где снег заметал повальный все пути, или дождь прощальный шел всю ночь до утра, — он жил, сам по себе, независимый от обстоятельств житейских, невеселых, а то и плачевных, и трагических, зачастую, то на чем-то сосредоточенный сокровенном, ушедший вглубь, в лабиринты своей метафизики, в измеренья своей

мистичности, ввысь, к истокам своим ведическим, то внезапно, разом встряхнувшись и опомнившись, распрямляющийся в непредвиденном и стремительном, по чутью, по наитью, порыве.

По-журавлиному как-то голенастый и длинноногий, с могучей грудной клеткой, в отрочестве и в юности хороший спортсмен — пловец, бегун, конькобежец и лыжник, неутомимый ходок, бездомничая, неделями бродил он по всей Москве, по причине слишком знакомого, постоянного до безобразия, опостылевшего вконец, но куда от него деваться, да и как, отсутствия денег, не имея возможности ехать, хоть куда-нибудь, к цели смутной, на транспорте городском, просто шел себе, да и все тут, в направлении нужном, пешком, и даже из Подмосковья добирался, бывало, в столицу вовсе не на электричке, но терпеливо, привычно вышагивал, в одиночестве, в любую погоду, и в пору года любую, десятки, а общей сложности сотни и тысячи километров, о чем-то своем размышляя, вдоль тянувшихся в пространство, сквозь время его земное, железнодорожных путей.

Постоянно недоедавший, при случае подходящем, разом, обычно, впрок, наверстывал он упущенное.

Способен был выпить чуть ли не ведро спиртного, любой, даже самой высокой, крепости, при этом всегда поминая выразительным, добрым словом своего былинного деда, выпивавшего регулярно, по семейным преданиям, добрую четверть водки — а ну-ка представьте эту емкость себе — за обедом, а потом с удвоенным рвением приступавшего к разнообразным хозяйственным, благо вдосталь их, как известно, бывало, работам.

Если уж он рисовал, если уж он дорывался до любимейшего занятия своего, до теперных красок, акварели, гуаши, угля, сангины, карандашей, восковых мелков или туши, до всего, чем способен был он заполнять пустую дотоле поверхность кусков оргалита, картонок, фанерок, листов бумаги, дощечек, холстов, то происходило это на едином, невообразимо долгом, таком, что и сравнивать не с чем его, дыхании, без малейших, вполне естественных, для любого другого, только не для него, находящегося в творческом трансе, признаков усталости и без всяких, даже крохотных, перерывов, покуда длилось и властвовало над ним, над его душою, нужное, с ритмами, важными для созданий его, состояние, — и количество сделанных им работ, изумлявших свидетелей ворошиловского рисования, учету не поддавалось, и свет их, и дух высокий очевидными были для всех.

Именно так работал он, бывало, в давние годы, у меня в квартире, под музыку Моцарта или Баха, держа на коленях картонку или бумажный лист с подложенной под него какой-нибудь твердой основой.

Еще в такую далекую пору, что диву даешься теперь, в совершенно другую эпоху, в новом столетии, как и в самом деле давно это было, хотя никуда не ушло из души, из памяти, и уже никогда не уйдет, в шестидесятых, во время первого моего посещения Ворошилова в Белых Столбах, где в облупленном доме барачного типа была у него своя комната, нелюбимая, но, с натяжкой, да все же своя, собственная, то есть та, где прописан, чудом полученная однажды от Госфильмофонда, где работал он, по специальности вгиковской, киноведом, — еще тогда, в подмосковной круговерти снежной, которая за окном клубилась, поблизости, вечеряя, густея, темнея, когда посмотрел я едва ли сотую часть «картинок» ворошиловских, так называл их он, а вокруг меня

лежали, висели, стояли и валялись, на каждом шагу, где попало, бессчетными горами, кипами и холмами прочие, удивительные, неожиданные, пока что не увиденные творения, так их лучше всего назвать, полагаю доселе, и я, пораженный всем, что предстало предо мною, с трудом, постепенно в себя приходил, а он стоял среди этих сокровищ, долговязый, смущенный, радушный, радуясь, что пришлось по сердцу мне светоносные эти произведения, — понял я навсегда, что это великий художник.

Что бы он и когда бы ни делал, за что бы ни брался, во всем, это сразу бросалось в глаза окружающим всем, был у него исполинский, и никак не иначе, дух, раблезианский размах.

С такой вот необычайной, одному ему только и свойственной широтой души и безмерной, необъятной творческой щедростью, с безудержностью в пристрастиях геркулесовых и запросах, с неистовой самоотдачей, он, такой уж, как есть, разумеется, не вписывался ни в какие общепринятые, стандартные рамки — и для обитателей московских квартир и приятельских, большей частью подвальных, прокуренных, тесноватых, сырых мастерских то и дело бывал непонятен, а нередко и неудобен.

При необходимости, ежели случай такой выдавался, для некоторых, не знавших толком его, неожиданно, поражая их, этих некоторых, озадачивая, восхищая, обнаруживал он обширные познания в философии, истории, литературе, без музыки просто жить не мог, хорошо разбирался в учениях эзотерических, историю мировой живописи превосходно знал, — и, в противовес премудростям этим, живо интересовался политикой, вообще абсолютно всем, что происходит в мире окружающем, регулярно газету «Советский спорт» читал, внимательно, пристально, за ходом соревнований, решительно всех, следя.

Общий язык находил и с интеллектуалами, и с похмельными горемыками у пивной окраинной или в магазинных, километровых, с нервозностью, очередях за желанной выпивкой, — был в высшей степени демократичен.

Этот крупный во всем, природой, так считали друзья, рассчитанный на столетие, человек тратил себя, стремительно, буйно и неудержимо, ежедневно и ежечасно, как сроду никто себя не тратил из окружающих.

Он точно ежемгновенно и обостренно-чутко прислушивался к различаемым только им самим, и никем другим, особенным ритмам бытия — и жил, в этих ритмах находя отраду и волю, широко, размахисто, щедро.

Вырос он в Алапаевске, городе, исторически связанном с царской семьей, в семье по-советски униженных, гонимых спецпереселенцев, сорванных с места, высланных, неизвестно зачем, с Кубани — в глухомань, далеко на Урал.

Род свой вел Ворошилов — от запорожских казаков.

Правильная, сечеваая, на украинский лад, скифской древности отзвук хранящая, степовая его фамилия должна бы писаться правильно, по традиции, — Ворошило.

Но фамилию, по привычке государственной, неистребимой, как это сплошь и рядом делалось, начиная с Екатерины Второй, и продолжалось, при прочих царях, чиновничьи крысы, дабы вытравить память о Славии запорожской, о силе ее, о славе прежней, о духе воинском, умело русифицировали.

При советской власти, когда все поставлено было с ног на голову, половину кубанцев сознательно записали, конечно же, русскими, а другую их половину — разумеется, украинцами, чем внесли немалую путаницу в само понятие этого древнего, монолитного, единого, на протяжении озаренных служением родине тысячелетий, народа.

Ведь казаки — вовсе не воинское сословие, а народ.

Один из вполне легендарных ворошиловских славных дедов носил фамилию птичью, щебечущую, — Горобец. По-украински так называется именно птица, известная всем, — воробей. Можно себе представить этого двухметрового, наделенного богатырским, отменным, железным здоровьем и к тому же еще обладавшего просто чудовищной силой и редкой работоспособностью, былинного предка Игорева, человечища-«воробья».

В древнем роду ворошиловском, по отцовской и по материнской линии, было немало таких вот, дюжих и рослых, полных сил, крутых мужиков.

Запорожцы, уж так повелось, да и все вообще казаки, испокон веков, искони — прирожденные воины. Кшатрии.

Вот и мой друг Ворошилов был прирожденным воителем.

По природе своей. По крови. По рождению. Вечным воином.

Нелепым всяким историям, перед которыми сразу же тускнеет и попросту меркнет прославленный повсеместно и многими почитаемый доселе театр абсурда, начало свое берущий не где-то на стороне, в чужих, зарубежных краях, а в пьесах нашего Чехова, комическим происшествием, таким, что и в самом деле не хочешь, да обхохочешься и вспомнишь в первую очередь не кого-нибудь там, а Гоголя, событиям драматическим, из тех, что, уж так положено у нас на Руси давно уже, за версту отдают Достоевским, и даже вполне трагическим событиям, за которыми встает едва различимая, но явная тень Шекспира, сопутствовавшим Ворошилову постоянно, в любые годы жизни бурной его, недолгой, к сожалению, — несть числа.

Их он словно упрямо притягивал, отовсюду, где бы хоть раз он случайно ни появлялся, где бы ни обитал, — к себе.

Так, наверное, на войне — вызывают огонь на себя.

Пару забавных случаев — пусть звучит по-одесски это, ничего, — нынче можно, пожалуй, вам, читатели, рассказать.

Как-то бродили мы с Игорем в Сокольниках. В тех Сокольниках, где блистательный Толя Зверев, работавший там не кем-нибудь, а, представьте себе, маляром, когда-то, в пятидесятых, за неимением нужных для него холстов и картонов, на природе, среди шелеста лиственного и веселого щебета птичьего, писал, на газетах прямо, на «Правде», «Советской культуре», «Известиях» и «Вечорке», маслом, свои этюды, на которых деревья окрестные хоровод с облаками водили, было небо хмельным немного, в доску пьяной была трава, поднимались цветы войсками зазеркальных, сказочных стран, пребывал в измерении странном весь подлунный, подсолнечный мир, белый свет был еще дороже, чем в его довоенном детстве, каждый взгляд был еще пронзительнее, чем вчера, и каждый мазок был еще точнее, чем прежде, и всегда устремлялся в завтра, чтобы завтра уйти в послезавтра, и так далее, в яром азарте, вдохновении, взлете, трансе, — в тех Сокольниках, где однажды заприметил его случайно там гулявший один человек, по фамилии Румнев, и сразу же изумился, увидев здесь, в старом парке, среди природы среднерусской, перед собою, неустанно производящего несравненную, дикую, дивную, фантастическую, поющую, небывалую просто живопись, натурального русского гения, и немедленно с ним познакомился, и повел его тут же к Фальку, и прославленный мастер, узрев произведения зверевские, сказал, что такие художники рождаются раз в столетие.

Стоял июнь. Было в мире не то чтобы очень жарко, но достаточно все же тепло для того, чтобы нам обоим очень уж захотелось выпить пива, именно пива, холоденького,

шипучего, по возможности, если выйдет, если вдруг пофартит, — побольше. Возможности наши были тогда, увы, ограниченными. Однако на несколько кружек желанного, даже в мыслях восхитительно пузырящегося, светло-желтого, легкого, жажду летом лучше всего утоляющего, пенистого напитка некоторое количество денег, немного бумажных и в основном, конечно, разнообразной мелочи, мы все-таки наскребли.

Ну а поскольку скромные, но очевидные средства были, как говорится, налицо и нам оставалось истратить их по назначению, то мы, разумеется, тут же, вдохновленные предвкушением удовольствия, незамедлительно, собрались, быстро вышли из дому — и двинулись вместе в поход.

От моего тогдашнего дома, недавно построенного и заселенного нами, жильцами, тоже недавно, менее года назад, нового дома, кирпичного, буровато-желтого цвета, говорившего мне всегда о присутствии осени в мире, даже летом, даже весной, ну и, само собою, зимой, когда среди снежной, завихряющейся белизны, морозной, вьюжной, холодной, напоминал он мне о желтой листве осенней, со всеми ее оттенками, — дома, гнезда богемного, приюта для сонма знакомых моих, на улице, ставшей весьма популярной в Москве, улице шумной, проезжей, названной в честь неизвестного нам Бориса Галушкина, до Сокольнического, манящего нас к себе, огромного парка, было рукой подать.

Следовало пройти пешком по знакомой нам улице в сторону, противоположную помпезной ВДНХ, или проехать несколько совсем коротеньких, быстро сменяющихся остановок на красном — «трамвайная вишенка страшной поры» — трамвае, пересячь свободно раскинутый над пространством, изрезанным грубо, широко, на глазок, размашисто, вкривь и вкось, поперек и вдаль, разветвляющимися, змеящимися, норовящими убежать неизвестно куда и тут же возвратиться скорей обратно железнодорожными рельсами, и мазутом щедро пропитанным, и щебенкой засыпанным впрок, боковыми юркими тропками, как морщинами, изборожденным и забытым внизу почему-то, как ненужное нечто, мост, под которым со свистом и грохотом проносились зеленые пригородные электрички, свернуть направо — и вот она, в меру запущенная и не в меру для нас притягательная, вся, как есть, с листвою и мусором, с прохожими одиночками и с группами подгулявших окрестных людей, окраина парка, лесного массива, озона сплошного, приволья на столичной глинистой почве, чего-то вроде понятного, но такого, что сразу не выразить, словом, некоего прорыва из жары в прохладу блаженную, на две трети воображаемую и на треть отчасти похожую то ли вправду на явь неведомую, то ли, может, все же на сон.

Поездку на быстром трамвае, ради более чем серьезной экономии нашей наличности, мы, подумав, сразу отвергли.

Мы шли вдоль трамвайных рельсов, быстрым шагом, вдвоем, пешком — и так вот, по давней привычке, как два пешехода заядлых, незаметно, за разговором, прошли всю короткую улицу, заросшую, вдоль дороги, не просто слишком высокими, по прямо-таки гигантскими, разносящими щедро по всей, ошалевшей слегка от сплошной круговерти белой, округе свой обильный, всепроникающий и, похоже, вселенский пух, светлокорыми, слишком широкими, рук вдвоем не сцепить, в обхвате, примечательными своими необъятными, слишком свободно и уверенно расположенными в городском, расписанном кем-то по минутам, не по часам, подневольном, имперском времени и предписанном властью пространстве, доселе могучими кронами, старыми тополями, ряды которых, редея, устало чередовались с приземистыми шеренгами облупленных низких барачков, уже теснимых упорно и плотно к ним подступающими,

одновременно, со всех четырех сторон, угрожающими оттеснить их совсем отсюда в никуда, навсегда, новостройками, потом поднялись на мост, прошли по нему, спустились вниз — и вмиг оказались в запущенной, густо заросшей стоящими не почти вплотную, но с перебором, так, что плотней не бывает, друг к другу, сосед к соседу, вид к виду, порода к породе, стеною сплошной, деревьями и сроду никем никогда издревле не подрезаемыми, косноязычными, праздными, языческими кустами, полной свежей, приятной, ласкающей глаз, расплеснутой всюду зелени и птичьего дружного пения, части парка, больше, пожалуй, напоминавшей лиственный, полноценный, таинственный лес.

Да это и был ведь самый что ни на есть настоящий, довольно большой, просторный, нешуточный, словом, лес.

Иногда деревья слегка расступались, и в этих проемах обнаруживались залитые солнечным светом поляны, до такой одуряющей степени и с восторгом таким непомерным, ошалело, в геометрической, разрастающейся прогрессии, как пришлось, охотно заросшие густейшей зеленой травой, что в ней только чудом, случайно можно было вдруг обнаружить разомлевшие и покрасневшие, раскаленные на солнцепеке тела позабывших здесь о приличиях и порядках, доверившихся покою, пускай не совсем надежному, но все же вполне заслуженному, и воле, пусть относительной, но все же вполне доступной, загорающих москвичей.

Мы с Ворошиловым шли напрямик, достаточно быстро, постепенно, интуитивно все ускоряя шаг, шли — к цели своей, к тем заманчивым и зовущим к себе местам, где в Сокольниках, на приволье, вот ведь как, торговали пивом, шли иногда по дорожкам, иногда — и через поляны, наискось, по петляющей в зарослях диагонали, пересекая эту, окраинную, лесную, в достаточной степени дикую, территорию парка огромного, — и вскоре, с трудом немалым, но все-таки добрались до более окультуренных, с различными аттракционами, павильонами и ларьками, всем известных, льготных, сокольнических, с птичьим щебетом, с шелестом лиственным, с небом синим над щедрою зеленью, над гульбою людскою, мест, — и в итоге благополучно, без особых в пути приключений, без ненужных недоразумений, оказались в одной из пивнушек.

Там, постояв поначалу, как и все сограждане, в очереди, получили мы наконец из натруженных красных рук пивной рыхловатой тетки, по привычке неистребимой и корыстной к тому же, небрежно, мол, и так сойдет, ничего, все допьете, до самого доньшка, ею налитые на глазок и дополненные художественно пузырящимися, на показ, да и только, громадными шапками скользкой, схожею с мыльной, пены свои, не очень-то чистые, полулитровые кружки, по четыре кружки на брата, потом отыскали себе местечко довольно удобное с краю, поближе к зелени, к природе желанной, устроились за столиком — и принялись утолять наконец-то жажду.

Первую кружку выпили мы залпом — в награду за пройденный нами, целенаправленно и довольно быстро, немалый, в несколько километров, по улицам, по жаре, сквозь гущу Сокольников, путь, скорее даже, и в этом свой резон есть, — за маршбросок по пересеченной местности.

Вторую кружку мы выпили тоже довольно быстро, вслед за первой, вдогонку, чтобы закрепить ощущение временной, но зато и приятной свежести, с натяжкой — даже прохлады, сопутствовавшее всегда самому понятию — пиво.

Жажда, казалось бы, — так ли? — частично, пусть и частично, что, в общем-то, хорошо, нормально, по нашим понятиям тогдашним, по нашим правилам давнишним, была — ну, пусть, поверим в это, на время, вообразим себе, что это именно так, что все в ажуре, в порядке полном, — утолена.

У нас оставалось еще по две, всего-то, кружки.

Денег больше — у нас обоих — не было. Ни копейки.

Приходилось нам проявлять выдержку — и растягивать мнимое удовольствие.

Мы закурили. Я — сигарету, привычную, в молодости, в красной пачке, без фильтра, «Приму». Ворошилов — свою папиросу, извлеченную им из растерзанной, смятой пачки, дешевый «Север».

Мы поглядывали вокруг — и почти ничего друг другу, что случалось, хоть и нечасто, почему-то не говорили.

Надо прямо заметить, без всяких околичностей и недомолвок, — никакого комфорта мы здесь, в пивнушке, вовсе не чувствовали.

Ну, добрались до пива. Делов-то! Подумаешь, невидаль!

Ну, сидим в захудалом, пропахшем кислым запахом, то ли пивным, то ли, может, еще каким, все бывает ведь, заведении. Народу в нем — предостаточно. С избытком. Полным-полно. Шум, непрерывный, всеобщий. Сплошной, неумолчный гвалт. Гогот какой-то, хохот. Крики, призывы, смех. Чья-то в зачатке драка. Чьи-то в итоге слезы. В общем, подобье мрака. Бред и разброд — сквозь грезы. Шаткий, невыносимо грязный столик, с которого тихая, пьяненькая уборщица с грохотом собирает пустые кружки, который, больше для виду, изредка, нехотя протирает подозрительно серой, сырой, вонючей, мохрящейся тряпкой.

А уюта — нет и в помине.

И покой — он-то напрочь отсутствует.

К тому же, количество пива в наших кружках, — пусть и сознательно, от безвыходности, скорее, от нелепейшей безысходности, что маячила впереди, что сжимала сердце в груди, отпивали его мы крохотными глотками, — все уменьшалось.

Глоток за глотком, слово за слово, за минутой минута — и вот он, пожалуйста, грустный итог похода нашего: пиво уже, незаметно как-то, но тем не менее выпито.

Надеяться на продолжение, наверное, слишком наивно понимаемого тогда нами летнего долгого пиршества было нечего. Да, надеяться было нечего. Да и не на кого.

На какие шиши, скажите, нам сейчас его продолжать?

Оставалось одно лишь действие, вынужденное, реальное, драматическое, эпохальное, — плестись восвояси обратно.

Что и пришлось нам сделать.

Эх, частенько такое бывало!

Не успеешь порой и во вкус войти, как тут же приходится приятное для души занятие прерывать.

А все — по простейшей причине: из-за отсутствия средств.

Солнышко, для кого-то, может быть, и веселое, но уж точно, что не для нас, горемычных друзей, пригревало.

Мы, смилив себя, возвращались, из пивнушки, с ее толкотней, из приволья, из щелеста птичьего, из веселого шелеста лиственного, из лесного зеленого мира, обратно, в мою квартиру.

Там, глядишь, что-нибудь толковое, может, к вечеру и придумаем.

Вдруг зайдет кто-нибудь из моих многочисленных, несть им числа, это верно, столичных знакомых да еще и предложит выпить вместе с ним, в охотку, пивка, ну а может быть, и не только, почему бы и нет, пивка, а чего-нибудь и покрепче.

Казак — он всегда в седле.

В бедах — не унывает.

Правда — есть на земле.

Всякое ведь бывает.

Вот мы и шли с Ворошиловым, сокращая свой путь, срезая все углы, приминая траву зеленую на полянах, огорченно шурша подошвами по дорожкам разнообразным, шли — с обидою на действительность, на житуху нашу нескладную, вот уж точно, практически нищую: ну скажите нам, почему же никогда не выходит так, чтобы хоть единственный раз двум друзьям отдохнуть спокойно, — сплошь и рядом что-нибудь этому, с изуверством настырным, что ли, с подковыркою ли какую подозрительной, да мешает, все мешает, и это тянется, шлейфом долгим, длиннее некуда, мы-то знаем, из года в год, и конца и краю вот этому безобразию натуральному не предвидится, да, похоже, не предвидится никогда.

С каждым пройденным метром по местности густолиственной, пересеченной, с каждым сделанным шагом по тропкам и дорожкам, с их пылью, камнями, с их песком, их глиной, корнями, вылезавшими узловатыми, шишковатыми, твердыми, прочными, как металл, сплетеньями дружными, то и дело, из-под земли, из-под сочной травы, наружу, может — просто погреться, на свет, ну а может быть, чтоб о них ненароком кому-то споткнуться, Ворошилов, глядя вперед, в никуда, или в дебри грядущего, настроения лучшего ждущего, в роли путника, вечно идущего да идущего, в поисках сущего, да, возможно, всякое грезились на пути, все мрачнел и мрачнел.

Он уже не шел, как обычно, в нужном ритме, быстро, размашисто, а почти что по-стариковски, с напряжением, ковылял.

Он сутулился, втягивал голову, горделивую ранее, в плечи, отчего его крупный нос еще больше вперед выдавался и покачивался на ходу, как печальный, ненужный, лишний, озадаченный бестолковщиной и тщетой, вопросительный знак — мол, ну что это, братцы-кролики дорогие, за жизнь такая?

Жажда, обоими нами недавно, совсем недавно вроде бы, пусть и на время, но все-таки утоленная, ненадолго, понятное дело, снова томила нас.

Во рту было сухо. Так сухо, что сложно выразить это. Поймут ли нас? И хотелось просто-напросто пить.

Пива ли выпить, воды ли, с градусами ли, без градусов ли, влаги бы лишь — уже как-то, можно сказать, все равно.

Впереди блеснула полоска отчасти лесной, прохладной, зеленовато-бурой, отчасти пронзительно-синей, отражающей небо высокое с белыми, кучерявыми, плывущими преспокойно, куда-то к хорошей жизни, к обещанным светлым далям, редкими облаками, стоячей, тихой, нетронутой давно, зацветшей воды.

Мы подошли с Ворошиловым к мелкому, густо, старательно, до самых краев заросшему липкою тиной пруду.

Глядя на слабо, как в луже, хлюпающую внизу, рядом, почти под нашими ногами, такую блеклую, окраинную, захолустную, позабытую, позаброшенную, воду, в кото-

рой, как в зеркале, непротертом, довольно тусклом, заодно с деревьями ближними, отражались и мы, Ворошилов, поначалу меланхолически, а потом оживившись заметно, и даже с таким пламенным, геройским, эпическим пафосом, произнес похвальное слово летнему, именно летнему, не бывает ведь лучше, купанию — и тут же, прямо по ходу своего монолога, вспомнил, как в отрочестве, на родине, в Алапаевске, на Урале, любил он, взяв камень побольше, чтобы раньше нужного времени не выплыть вдруг на поверхность, ходить преспокойно по дну речки, ходить и пугать плавающих девчонков, иногда хватая их за ноги.

Ворошилов, припомнив прошлое, даже повеселел.

— Я здоровый тогда был, выносливый, не то что теперь, в Москве, при такой-то жизни сумбурной, такой был крепкий, поверь, что куда там, кремь, монолит, богатырь из былин, да и только! — сказал он мне, по привычке простирая длинную руку ввысь куда-то и вдаль, и при этом чуть покачивая головой.

Покосился вспыхнувшим глазом на меня и этак спокойно, скромно, просто совсем, прибавил:

— Под водой я мог находиться по четыре минуты. Запросто. Много раз. Много, много раз. Как в цыганской песне поется. И без всяких там перерывов. Набирал я побольше воздуха — а у нас был он чистый — в легкие — и нырял. А когда выныривал — воздух в легкие вновь набирал. И — нырял. Все нырял и нырял. Веселился. Всем весело было. Девки наши визжат оглушительно. Парни наши дружно смеются. Ну а я все ныряю себе — да выныриваю. Развлекаюсь. Между прочим, такие забавы — тоже спорт. Настоящий спорт. Я, возможно, был чемпионом. Все рекорды шутя побивал. По четыре минуты сидел под водой, даже больше сидел, ведь бывало, — и хоть бы что!..

Ворошилову я — не поверил:

— Брось, Игорь, шутки шутить. Четыре минуты! — да это ведь очень много, неслышанно много. Думай, что говоришь.

Ворошилов даже обиделся:

— Вот ей-богу, Володя, было, и не раз! По четыре минуты, ну чего там, подумаешь, невидаль, и поболее, до пяти, до пяти, и частенько, минут под водой, бывало, сидел! Жив, как видишь. Ты что, мне не веришь?

— Нет, конечно! — ответил я.

— Значит, вижу я, ты не веришь?

— Нет. А ты, вспоминая подвиги, те, былые, из мифов, из сказок, все же думай, что говоришь.

— Часы у тебя, Володя, есть? — спросил Ворошилов.

— Есть, конечно. Идут исправно. Вот они, посмотри, на руке, — показал я свои часы.

— Так. Идут. Все в порядке. Очень хорошо. Ну тогда — смотри!

Без всяческих лишних слов, не просто, как часто бывает с любым из нас, очень быстро, а стремительно, по-спортивному, Ворошилов скинул с себя, раз — и все тут, рубашку и брюки.

Он стоял, по-бойцовски подтянутый, на берегу пруда, высоченный, как тополь, в длинных, сатиновых, так называемых «семейных» старых трусах, бывших когда-то черными, а теперь линялых и сморщенных, разминая широкие плечи, перебирая ногами, демонстрируя всем своим видом непривычным — готовность к бою.

— Я готов! — громко крикнул он мне. — Засакай, друг Володя, время!

И грузно, с разгону, плюхнулся в раздавшийся, охнувший пруд.

Зеленовато-бурая перепуганная вода расплескалась от неожиданного человеческого вторжения в тишину ее и сонливость, а потом с натугой сомкнулась, грязно-белой покрывшись пеной, закипев, над его головой.

Стоя на берегу, я смотрел на свои часы.

Одна минута прошла.

Другая прошла минута.

Третья минута прошла.

Секундная стрелка сделала еще один быстрый круг.

Четыре минуты. Четыре!

Ворошилова, занырнувшего в пруд сокольнический, все не было.

Я уже начинал беспокоиться.

Секунды бежали. Четыре с половиной минуты... Факт!

Ворошиловская голова, облепленная обильной, мокрой, бледно-зеленой ряской, с выпученными глазами, с плотно закрытым ртом, показалась, как в детских фильмах по мотивам народных сказок, на поверхности ошалевшего, потерявшего разом покой от Гераклова нового подвига, а вернее, Гераклова-Игорева, столь недавно еще безмятежного и в забвении пребывавшего, а теперь перемены почувывшего в горькой доле своей пруда.

Вынырнув, Игорь с шумом выдохнул воздух оставшийся, и новую порцию воздуха в легкие тут же набрал, и — задышал, всей грудью, задышал как ни в чем не бывало, не судорожно и не часто, а спокойно, вполне нормально, будто бы и не нырял, будто бы и не сидел под водою, в пруду, так долго.

— Ну что, старина, проверил? — крикнул он мне из пруда, стоя в воде по пояс и пробираясь к берегу.

— Проверил! — откликнулся я.

— Убедился? — уже патетически произнес он, глядя на мир, приоткрывший нежданно свои небывалые, новые грани, сквозь листву, и траву, и цветы, и беспечность летнего дня, и разливы теплого света, и ненужность мыслей недавних, с их тоской, для него, для воителя, состояний смурных победителя.

Я сказал:

— Убедился. Четыре с половиной минуты сидел ты под водой, вот в этом пруду. Странно даже. Действительно, странно.

— Что я слышу? Что значит — странно? — возмутился вдруг Ворошилов. — Вот нырнул. Привычное дело. Для меня. Для других — не знаю. Для меня-то — дело знакомое. Если хочешь — я повторю!

— Да ладно уж, вылезай! — сказал примирительно я.

Но Ворошилова что-то в тоне моем заело.

— Спорт есть спорт. Вот что важно. Для пущей убедительности — повторяю! — крикнул он. Развернулся — и тут же погрузился, по новой, в пруд.

— Сколько? — спросил он, вынырнув.

— Четыре минуты десять секунд! — ответил я. — Вылезай!

— Мало! Как я недотянул? — огорчился, ударив ладонью по воде в сердцах, Ворошилов. — Это не по-спортивному. А ну-ка еще разок занырни. Засекай время!

Развернулся — и снова нырнул.

— А теперь-то сколько? — азартно выкрикнул, вынырнув, он.

— Четыре минуты и...

- Ну, скажи!
- Тридцать пять секунд.
- Вот теперь-то гораздо лучше! — воспрянул в пруду Ворошилов. — Теперь выходит по-моему. Как в прежние времена. Эх, — вспенил он воду обеими руками, — есть еще порох в пороховницах! Есть!

Покуда Игорь нырял, а я, на часы поглядывая, засекал по-судейски время, на берегу пруда помаленьку, один за другим, собираться стали, все гуще, все активнее, все смелей, превращаясь в праздную стайку, любопытные, любознательные, так их лучше назвать мне, люди.

— Что тут, граждане, происходит? — проявил интерес умеренный к ворошиловскому нырянию пожилой гражданин, похоже, что из зощенковских рассказов на московскую почву пришедший, в мятой летней шляпе, которую то и дело снимал он, держа на весу ее и вытирая тоже мятым платком носовым потный, гладкий, мясистый затылок.

— Что-нибудь случилось, товарищи? — деловито и быстро спросил человек невзрачный с портфелем, в котором, судя по звуку, звякало что-то стеклянное.

— Эй, ребята! Что там такое? — подходя поближе, кричали парни крепкие, с виду — рабочие, подвыпившие слегка, гуляющие в Сокольниках в свой выходной день.

— Что такое там? Что стряслось? — раздавалось со всех сторон.

— Ничего здесь такого, граждане, вы поймите, все разом, особенного, необычного — не происходит! — успокоил я всех вопрошающих любопытных одновременно. — Просто-напросто друг мой показывает, что сидит он в пруду под водой по четыре минуты запросто, даже больше порой, по четыре с половиной, бывает и так.

Любопытные, любознательные — поначалу все озадачились.

А потом, прикинув и взвесив, по привычке, все «за» и «против», принялись, один за другим, критиканствуя, возмущаться:

- Ерунда!
- Чепуха!
- Вранье!
- Что за шутки?
- Так не бывает!
- Столько времени под водой просидеть нельзя! Невозможно!
- Не рассказывай, парень, сказки!

Тут Ворошилов обиделся.

— Как это — ерунда? Почему же это — вранье? Как это — так не бывает? — возопил он громко и гневно, разобидевшись, из пруда. — Как это — что за шутки? Почему — не рассказывай сказки? Вот он — я. И могу сидеть под водой четыре минуты. Даже больше могу сидеть. Понимаете? Значит — умею!

— Ты, парень, не заливай, — сказал ему гражданин в шляпе. — Дыхалки не хватит у тебя, чтобы столько сидеть под водой. Ты слышишь? Ды-хал-ки!

— Дыхалки-то у меня хватит! — грозно и весело ответил ему Ворошилов. — Спорим, что просижу под водой четыре минуты с какими-то там секундами? На бутылку портвейна — спорим?

— Идет! — согласился охотно гражданин в мятой летней шляпе. — А где тут портвейн продают? Сейчас ты за ним, за портвейном, и побежишь, весь мокрый. Не успеешь даже обсохнуть. Как миленький, побежишь!

— Портвейн, поясняю заранее, продают вон в том заведении, — указал Ворошилов перстом на синеющую за зеленью кустов и деревьев стенку павильона буквально

в минуте быстрой ходьбы отсюда, — а за портвейном, кстати, пойдете вы, а не я. Ну так что, действительно спорим?

— Я же сказал! — откликнулся гражданин в мятой летней шляпе.

— Тогда, — Ворошилов строго поглядел на меня, — Володя, засекай, пожалуйста, время! И вы, — обратился он к присутствующим, при этом сделав царственный жест рукою, будто бы одаряя их чем-то необычайным, — и вы, дорогие сограждане, засекайте, все вместе, время!

Игорь нырнул. И — вынырнул.

Посмотрел на меня вопросительно.

Я крикнул ему, показав на часы:

— Четыре минуты и тридцать семь секунд!

И тут же нестройным хором подтвердили это все зрители.

— Папаша, — потрянул головой облепленной водной растительностью Игорь, — вы это слышали? Уговор наш остался в силе? Вы проспорили. Я победил. Посему — вперед! За портвейном!

— Это я мигом! — с готовностью откликнулся гражданин в шляпе. — Проспорил — куплю сейчас. А ты молодец!

— И не такое бывало! — скромно, куда уж скромнее, ответил ему Ворошилов.

Гражданин в шляпе ринулся к синему павильону — и через пару минут вернулся обратно с бутылкой портвейна в руке. Ворошилов, кряхтя, отряхиваясь от растительности липучей пресноводной, вылез на берег.

Чтоб кота за хвост не тянуть, поскорей открыли бутылку.

Нашелся, как по волшебству, и стакан. Он всегда, замечу, вовремя находился, да и в нужном, представьте, месте, в былые, с их героизмом и трагизмом их, да и с юмором несгибаемым, времена. Ворошилов, недолго думая, ополоснул его, на всякий случай, в пруду.

Мы втроем — Ворошилов, я и гражданин проспоривший в мятой летней шляпе, которого поощрить мы решили, — выпили.

Светлая птица удачи пролетела над нами тогда, приветливо, даже по-дружески, по-доброму как-то, взмахнув над нашими головами своими легкими крыльями.

Почему-то решительно всем собравшимся возле пруда гражданам вдруг захотелось, да так, что азарт всеобщий, собравшись в единый, жаркий стусок энергетический, как молния шаровая, пронзил округу мгновенно, спорить с Игорем, спорить и спорить, на бутылку портвейна, конечно: просидит он четыре минуты или даже, может, поболее под водой, вот в этом пруду, — или все же не просидит?

Наверное, всем собравшимся хотелось еще, по причинам, понятно, различным, для каждого, — но прежде всего — в удовольствие, на природе, в Сокольниках — выпить.

А тут, как в сказке, — такой вполне подходящий повод!

Ворошилов уже вошел в ритм — и вошел в роль.

К тому же, выпив портвейна, почувствовал он себя в отличной спортивной форме.

Каждому гражданину он вкратце, весьма толково, чтобы сразу стало понятно, разъяснял, не ленясь, терпеливо, почему он сидит в пруду, и спорил, с каждым в отдельности, потом, на бутылку портвейна, что пробудет он под водой свои четыре минуты.

Граждане — разволновались. В раж незаметно вошли.

Спор — заводная штукovina.

Граждане спорили, спорили — и проигрывали, проигрывали.

Им оставалось только бежать в павильон за портвейном, покупать его — и возвращаться как можно скорее обратно.

Ворошилов, стоя в пруду, отпивал из каждой бутылки, понемногу, пару глотков, остальным делился со мной и с проигравшими гражданами.

Он был, великий ныряльщик, великодушен и щедр.

Он хлебал портвейн — и нырял, вдохновенно, уверенно, снова.

Вскоре берег пруда был густо, словно семечками, усеян любопытными современниками.

Пруд, в который Игорь нырял, окружали плотным кольцом бутылки портвейна, частично пустые, частично полные. Стекланные их бока поблескивали на солнышке.

Ворошилов нырял — и выныривал.

И — выигрывал, выигрывал, выигрывал.

Всеобщее, бурное, праздничное народное ликование придавало ему, герою, победителю, новых сил.

Он обрел спортивную форму.

Он чувствовал нынче себя действительно молодцом.

Он не только жажду свою утолил, да с каким размахом, но в придачу к ней получил возможность реальную — выпить, разумеется — тоже с размахом, да еще и вместе с народом.

Ну и, само собой, это была — работа.

Да, такая вот, своеобразная, но — работа. Творческий труд.

И это все поголовно сограждане осознавали.

К тому же у всех сограждан, просто чудом, в кои-то веки, появилась такая хорошая, счастливейшая возможность: выпить — вместе, здесь, на природе, от души, в свое удовольствие, выпить — впрок, — да еще и присутствовать при таком необычном зрелище.

В тот день в павильоне сокольническом, синем, как небо высокое над столицей всею, над летнею бестолковщиной и суетой, продан был на корню весь имевшийся запас портвейна дешевого.

В тот день молва быстрокрылая о славном ныряльщике Игоре разнеслась по всем развеселым, для кого-то, для большинства, островком природы спасающим сердца и души Сокольникам.

В тот день Ворошилов негаданно, словно в сказке, вдруг оказался на вершине успеха спортивного и даже спортивной славы, а с нею и выпивонной, что тоже почетно, доблести.

Он и сам как следует выпил — и всех вокруг угостил.

И все, кого ни спроси, кого ни возьми, сограждане, современники наши, люди, это прежде всего, человеки, собравшиеся могучею ратью возле пруда были ему благодарны — и за зрелище, и за выпивку.

И рекордом личным его стало, к восторгу всеобщему, пребывание под водой в течение четырех, для кого-то — слишком коротких, для кого-то — долгих, минут, и пятидесяти пяти чемпионских весомых секунд.

А потом, незаметно как-то, а для многих и неожиданно, потому что день был хорошим, а для многих и замечательным, наступил, изумив сограждан появлением своим негаданным на приволье, вот здесь, в Сокольниках, среди блаженства хмельного, вечер — и водные процедуры, сулившие прорву выпивки, Ворошилов, слегка уставший, решительно прекратил.

Он выбрался из пруда к ликующей, как на празднестве, случайном, почти волшебном, и никак не иначе, толпе, где шло уже поголовное, с восклицаниями невнятных, с объятиями, с заверениями в дружбе навеки, братание.

И мы с ним вдвоем, снабженные немалым запасом оставшегося, выигранного в спортивной упорной борьбе портвейна, побрели, напрямик, сквозь заросли, сквозь аллеи и тропы, в сторону моего, передышку сулящего и пристанище нужное, дома.

Там, в тиши, на седьмом этаже, в однокомнатном скромном раю квартиры моей, спасительной для меня и моих друзей, предстояло нам скоротать этот летний, просторный, благостный, с летящим по всей округе, сплошным, воздушным, сквозным, белеющим в темноте, залетающим в окна открытые, уносящимся в гулкую даль, тополиным вселенским пухом, вечер — после дневных, непредвиденных, непростых, спортивных, отчасти, в основном же почти мистических, но зато и славных, трудов.

И уже ближе к ночи, сидя у меня в квартире, на кухне и задумчиво попивая портвейн, богатырь Ворошилов порою грустнел и вздыхал — об одном лишь вздыхал, об одном — эх, ну надо же, не удалось ему дотянуть всего-то пяти каких-то секунд несчастных — до пяти минут, ровно пяти полноценных, желанных минут сидения под водой!

Вот когда был бы полный порядок!

Вот когда был бы точно — рекорд!

И его неумная сила клокотала и пела в нем.

И поглядывая на него, понимал я: и это он — может.

Не сейчас, поднабравшись портвейна, он способен на подвиг, на взрыв, на решительный, мощный выход всех его потаенных энергий в мир, наружу, на белый свет, а потом, как-нибудь потом, в нужный час, и пожалуй — вскоре, вдруг начнется, само по себе, как-то исподволь, из ничего появившись вроде бы, став — сразу всем, тем, в чем явь и правь заодно, просияв над землей и восстав сквозь сумрак и бред, словно луч, долгожданное чудо, и проявится эта сила — не в нырянии, нет, но — в творчестве.

Что в дальнейшем и подтверждалось — и не изредка вовсе, а многожды.

Доказательств чему — смотрите же — более чем достаточно.

То есть — работ ворошиловских.

И дыхания в них. И света.

И движения — вглубь и ввысь.

А однажды сидели мы с ним, как это слишком уж часто в прежние времена с нами бывало, в печали, а может быть, и в тоске, с нищетою накоротке, совершенно без средств, столь нужных людям для существования, — говоря простым языком, всем на свете сразу понятным, четким, жестким, суровым и внятным, — без единой копейки денег.

Было это, пожалуй, вскоре после истории с нырянием ворошиловским в сокольническом пруду.

Ну конечно, все тем же летом, в шестьдесят девятом году.

И пора была, разумеется, теплой. Пора — в преддверии городской, надолго, жары. Солнечная. Цветущая. С птичьими дружными песнями и зеленой, свежей, приветливой молодой окрестной листвой.

А мы в эту пору — томились. Оба. Просто не знали, куда нам себя девать. Нечего нынче скрывать. Не было в душах покоя. Бывало ведь и такое. И не такое бывало. И проходило помалу. Всякое с нами бывало. Может, облюбовала доля нелегкая нынешний, звоном трамваев пронизанный, словно красною нитью прошитый, стежками неровными, день? Куда в нем бред законный свою отбрасывал тень?

Ворошилов, сумрачный, тихий, осунувшийся, докуривал слежавшиеся остатки своего привычного «Севера».

Если так и дальше пойдет, если сложится все потом для него неудачно, то примется, огорчившись, надувшись, отыскивать свои же окурки в пепельнице — глядишь, и хватит еще на две или даже на три коротких, на нервах, затяжки.

Для поддержания духа, в горький час, у себя и у друга, включил я старый проигрыватель и поставил пластинку — цыганские, весь набор, с перебором, песни и романсы, любимые нами, — в исполнении заграничного, удалого, лихого, буйного, а ля рюс, отчасти, с акцентом, непонятно каким, с оркестром разухабистым, струны рвущим, разрывающим людям сердца во хмелю, в гульбе воспаряющим к небесам, вовсю восхваляющим страстей роковые сплетения и глубины их океанские, на земных просторах широких, в измерениях зазеркальных и в таинственных звездных высях, певца Теодора Бикеля.

Эту пластинку странную, модную в нашей компании, слушали, под настроение, мы частенько, особенно — выпив.

Заезженная, затертая, она скрипела, шипела, — и голос певца иностранного с наугой, с трудом немалым, пропадая и возникая, прорывался сквозь скрип и шип.

Но на сей раз нам и цыганщина, понимал я, не помогала.

Уже на третьей, с призывами к неведомым далям, песне выключил я проигрыватель, снял пластинку, ненужной ставшую, молча сунул ее в конверт и поставил на полку, к прочим, тем, что были тогда у меня, пусть немногим и тоже заигранным, но зато и хорошим пластинкам, — не до музыки нам, — с глаз долой.

Ворошилов ходил по комнате — и о чем-то сосредоточенно, лоб наморщив и шевеля то и дело губами, думал.

Подошел он к двери балкона, открытой настежь с седьмого нашего этажа — куда-то туда, в простор, столичный, и подмосковный, а может быть, и вселенский, — и оттуда, из этого радостного, несмотря ни на что, простора, сюда, в эту комнату, к нам, долетал разгонистый, теплый, но все-таки хоть слегка освежающий, приносящий с собою некие смутные намеки на что-то хорошее, подбодрить нас, наверно, желающий, приветливый ветерок.

Стоял он в дверном проеме, сутулясь, пристально вглядываясь в одному ему только и видимую сейчас далекую точку, поверх кварталов жилых и зеленых вершин деревьев.

Потом, в неожиданно плавном развороте, всем корпусом, сразу, повернулся Игорь ко мне.

В глазах его, прояснившихся, загоревшихся жарким пламенем, с нахлынувшим вдохновением, прочитал я тогда — озарение.

— Старик! — сказал Ворошилов и перевел дыхание с шумом. — Володя! Друг!

— Что случилось? — поднял я взгляд на него. И понял: случилось.

— Я знаю, что делать! Знаю!

— Что ты знаешь?

— Все!

— А точнее?

— Знаю все! Сказать?

— Говори!

— Болшево! — произнес Ворошилов, как заклинание.

— Что — Болшево? Ну и что — Болшево? Почему?

— Болшево! — четко, торжественно сказал Ворошилов. — Бол-ше-во! И все тут.

И только Болшево.

И тогда я сказал:

— Поясни.

— Поясняю, — кивнул, в знак согласия, головой удалой Ворошилов. — Поясняю. Слушай внимательно. Мы поедем сегодня — в Болшево. Там — ты знаешь об этом — Дом творчества кинематографистов. И там-то — наверняка сейчас есть мои знакомые.

Я вначале насторожился, а потом кое-что припомнил.

В свое время Игорь с отличием, всем на радость, друзьям, и родителям, им гордившимся, и сокурсникам, среди которых был он звездой настоящей, окончил ВГИК, получил диплом киноведа, работал по специальности и многих советских киношников. действительно хорошо и довольно давно уже, знал.

И немалое, даже внушительное, так точнее будет, число людей из этой среды относилось, по старой памяти, к Ворошилову с явной симпатией, и многие, по-человечески, даже любили его, а некоторые, их меньше было, но все-таки были такие энтузиасты, — и ценили его, по-своему, разумеется, как художника.

Ворошилов по-деловому, с каждым словом своим все более оживляясь и становясь, на глазах, героем, воителем, всяких недругов победителем, возвышаясь на фоне стен, что увешаны были его многочисленными картинками и работами наших общих с ним друзей, развивал свою мысль:

— Мы с тобой, Володя, поедем в стан киношников наших, в Болшево. И поэтому, друг, давай-ка собираться прямо сейчас. Время ранее. Утро. День — впереди. Целый день, представляешь? Все успеем, всех повидаем. А пока что — давай отберем, поскорее, мои работы. Вон их сколько вокруг, навалом. И с меня не убудет. Потом нарисую еще, и получше. Мы поедем к знакомым киношникам. Им, собравшимся в месте одном, я продам, по дешевке, работы. Купят, я убежден. А потом — хорошенько выпьем с тобою. Понимаешь? Давай поедем. Прогуляемся. Говорят ведь, что прогулки, особенно загородные, людям очень даже полезны. А у нас, надеюсь, полезное сочетаться будет с приятным.

— Ну что же! — сказал я другу. — Все ясно. Мы едем в Болшево.

Мы с Игорем принялись просматривать вороха хранящихся у меня чудесных его рисунков.

Из этих залежей он, по чутью в основном, выбирал кое-какие вещи, иногда — набум, иногда — попридирчивее, постороже.

В итоге образовалась пачка работ изрядной, и на глаз, и на вес, толщины.

Отыскали старую папку большого формата, наспех сложили в нее рисунки, черно-белые и цветные.

Игорь сунул папку под мышку — и уже меня поторапливал:

— Собирайся скорей. Поедем!

— Потерпи, — сказал я ему, — есть тут одна идея.

Моя идея была до смешного простой, но и грустной, — оттого, что решил я расстаться с некоторыми книгами из своей небольшой, в ту пору, но зато хорошей, подобранной тщательно библиотеки.

Отобрал я довольно быстро несколько книг, интересных, но не первостепенной важности, и сложил их стопкою в сумку.

И мы с Ворошиловым, выбравшись из дому, двинулись в путь.

Покуда мы с другом Игорем добирались до электрички, я успел по дороге зайти в находящийся неподалеку и давно мне известный книжный магазин — и там, очень быстро, с собою взятые книги сдать, — причем их, при голоде книжном тогдашнем и при наличии великой любви всенародной к чтению, взяли мгновенно — и выдали незамедлительно мне деньги, некую сумму, небольшую, меньше, чем следовало, но для нас пока что достаточную, — и, выходя поспешно из книжного магазина, я видел, что книги, только что принесенные мною сюда, уже покупали какие-то интеллигентного вида, в очках, с портфелями, люди, — но мне, признаюсь вам, было некогда сожалеть об этом, — бог с ними, с книгами, когда-нибудь их куплю вновь, а жертвы порою нужны и даже полезны, так что все к лучшему, как говорится.

Затем я зашел в другой магазин, уже в продовольственный, и купил там бутылку водки, и в сумку ее положил, вместо сданных недавно книг, — и Ворошилов, увидев эту водку, «Московскую», кажется, посмотрел на меня одобрительно и выразительно крикнул.

В киоске табачном купил я курево: для себя «Приму» и «Север» для Игоря.

Мы на ходу закурили.

Станция электрички находилась неподалеку, в двадцати минутах, не больше, а то и поменьше ходьбы.

Принципиально я купил нам обоим билеты, хотя Ворошилов робко и пробовал возражать.

Но с билетами ехать — спокойнее, уж это всем вроде бы ясно.

Постояли мы на перроне, двое путников неумных.

Подошла — зеленою лентой сквозь шитье воздушное дня и небес в синеве, расплеснутой вкривь и вкось, — электричка наша.

Распахнулись — вот, мол, входите, люди добрые, — двери вагонов.

Потянулись вовнутрь — торопливо, как бывает всегда, — пассажиры.

Мы зашли в вагон — и устроились на сиденьях возле окошка.

Электричка свистнула, дернулась — и со скрежетом, с лязгом двинулась, набирая скорость в пути, по направлению к Болшеву.

В вагоне, людьми заполненном, Ворошилов частенько поглядывал на головку бутылки, торчащую, ванькой-встанькой, из сумки моей, поглядывал — и выразительно, укоризненно как-то, вздыхал.

Слушая эти шумные, страданий полные вздохи, я делал упрямо вид, что ничего такого странного или особенного вовсе не замечаю.

В Мытищах Игорь не выдержал.

С некоторым смущением, но достаточно твердо, так, что металлом каждое слово прогремело и долгим эхом пронеслось по всему вагону, предложил он выйти на станции и незамедлительно выпить.

— Володя, — шаманским тоном произнес он при этом, — пора!

Я давно уже понимал, что пора. Да просто терпел.

Мы поспешно, я — сумку сжимая с бутылкой, он — папку с рисунками, выбрались из вагона — и вышли вдвоем на перрон.

Выпивать в людской толчее было делом, по всем статьям и по нашим твердым понятиям, неразумным, да и опасным: неожиданно, как всегда появиться могла милиция — вот вы пьете, мол, где! — и тогда...

Многое, слишком уж многое в прежние времена вставало за этим «тогда».

Ворошилов сердился, нервничал:

— Давай рискнем! Завернем за угол. Выпьем по-быстрому. И все дела. Не впервой ведь.

— Подожди! — твердил я ему.

И мы шли с ним, все дальше и дальше, шли вперед, отдаляясь от станции электрички, втянувшись в ритм этой вынужденной ходьбы, шли вдоль улицы, вдаль куда-то, в дебри общего безразличия, в подмосковную, летнюю, теплую, бесконечную, скучную глушь, — и желание ворошиловское беспокойное — выпить немедленно — незаметно передалось, обжигая горло, и мне.

И тогда я сказал Ворошилову:

— Надо просто зайти в подъезд и там по-быстрому выпить.

— Это дело! — поддакнул мне Игорь.

Сказать-то легко — зайти поскорей в подъезд. Но — в какой?

Мы шли вдоль домов незнакомых, понимая, что здесь, в Мытищах, выбирать нам особо и нечего.

Наконец один из подъездов, этакий чистенький с виду, почему-то мне приглянулся.

Почему? Да как объяснить!

Знать, вела незримая нить.

Поплутала — и привела.

Вот какие, братцы, дела.

Был подъезд как подъезд. И все ж...

На другие был — не похож.

Я сказал:

— Вот сюда и зайдем!

Ворошилов сказал:

— Здесь и выпьем!

Мы зашли в подъезд приглянувшийся, с немалым трудом открыв тяжелую неожиданно, массивную, свежеразкрашенную, похожую на крепостную, из романов рыцарских, дверь.

Там, внутри, было тихо, чисто и прохладно. Странно, ей-богу!

Тишина, чистота и прохлада?

Славен тройственный сей союз!

Мы поднялись по устланной ковровой красной дорожкой, аккуратнейшим образом вымытой, широкой лестнице — вверх.

На площадке просторной лестничной, расположенной меж этажами, увидали мы стол, и на нем — графин с водой и чистые, сразу ясно было, стаканы.

Стол был застелен отглаженной, приятного цвета, скатертью.

Рядом с графином стоял душистый букетик цветов.

Возле стола стоял мягкий, большой диван.

Рядом с диваном стояли в широченных и высоченных, деревянных, надежных кадках экзотические растения — пальма перистая и фикусы.

Мы с Игорем переглянулись.

Вот это, брат, обстановочка!

Вот это, дружище, комфорт!

Ну прямо как на курорте!

Вот так подъезд! Чудеса!

Это надо же! — вот ведь какие хорошие, нет, прекрасные, из восточных сказок, из фильмов голливудских послевоенных, замечательные подъезды есть, оказывается, в Мытищах!

Мы уселись на мягкий диван, музыкально, со вздохами тихими, с переливами, переборами, то высокими, то басовыми, запевший и заигравший вначале под нашей тяжестью, а потом, привыкнув, наверное, деликатно и незаметно, стушевавшийся, стихнувший, ставший просто местом сидения нашего, уселись мы с Ворошиловым посвободнее, поудобнее, с удовольствием явным откинувшись на упругую спинку такого вот, нам дарованного судьбою, всем устройством своим, всей конструкцией приспособленного для отдыха, и тем более приспособленного — для временной передышки, для привала дневного недолгого двух усталых суровых путников, в отношениях всех чудесного, расчудесного просто, дивана, под вечнозелеными кронами перистой пальцы и фикусов твердолистных, расположились — надежно вполне, устойчиво, с ощущаемой нами гарантией безопасности и спокойствия, в тишине, чистоте и прохладе, без обрядных для нас нервотрепок, без поспешности, без тревоги, напряжения, суеты.

Взад и вперед в подъезде сновали какие-то люди, почему-то не обращавшие на нас никакого внимания.

Сновали они отстраненно, призрачно, как в кино.

Мы их воспринимали вовсе не как живых людей, а, скорее всего, как движущееся осторонь зыбкое изображение.

Мы их просто никак, и все тут, что гадать-то, не воспринимали, если на то пошло.

Мы их — в упор не видели.

Мы открыли бутылку водки.

Наполнили доверху чистые, блещущие стаканы.

Чокнулись, как полагается людям серьезным, воспитанным.

Потом — разумеется, выпили.

Выпили не спеша — с чувством, с толком и с расстановкой. Условия — позволяли.

Это ведь вам не на улице где-нибудь выпивать.

Вон какой здесь, в подъезде, уют.

Мы плеснули в стаканы чистые водички прохладной из полного, весело, звонко, празднично сверкающего своими широкими, светлыми гранями, устойчивого, массивного, достаточно плотно закрытого тяжелой, как гирька, пробкой, приспособленного хорошо для хранения влаги живительной, словно по мановению чьей-то волшебной палочки находившегося не где-нибудь вдалеке, но именно здесь, в месте нужном и в нужное время, вместительного графина — и запили только что выпитую нами обоими водку этой, во всех отношениях приятной, свежей, полезной, целебной, возможно, водичкой.

Мы, решив никуда не спешить хоть немного еще, закурили.

Синева-белесый дымок — от моей сигареты «Прима» вместе с иссиза-синим, от Игоревой папиросы кондовой «Север» — колеблющимися, легчайшими, невесомыми даже, беспечными, беспечальными, тихими струйками потянулся, все выше и выше, разрастаясь в туман, к потолку.

Нам — почували мы — полегчало.

Мне — скажу откровенно — стало веселее как-то и радостней здесь, в Мытищах, дышать и жить, на душе спокойнее стало, разлилось по жилам тепло, не блаженством пусть отзываясь, но уж точно — чем-то подобным.

Ворошилову — после водки — стало жить значительно легче, с очевидного, небольшого, так себе, да все же — похмелья, как от него ни отбрыкивайся и как его ни замалчивай, — а все же что было, то было, — и теперь, помучив, прошло.

Мы, сказать можно смело, вдвоем, здесь, в пути своем, — отдыхали.

Пальма слегка шелестела над нашими головами перистыми своими декоративными листьями.

И глянцевиные, плотные, крупные листья фикусов, притягивая случайные и неслучайные взгляды, медленно, монотонно и верно, без всяких промашек, воздействуя на людское, от стрессов уставшее, зрение, а с ним, покоя дождавшимся, и на людское, к лучшему изменившееся настроение, завораживая растительной, природной, зеленой и темной, живучей своей зеркальностью, отражали в окно проникающий, временами — порывистый, магниевый, большей частью — неспешный, широкий, подмосковный, привольный, летний, с золотистой искоркой, с блеском катящейся где-то за стенами, в пространстве разъятом, ртути, и с отсветами литого, просторного серебра, дневной, несомненный, природный, свободой веющий, свет, — и мягкий, отчасти вкрадчивый, спокойный, благонамеренный, незыблемый — так мне казалось — и теплый свет электрический, плавно и ровно льющийся из матовых, стильных каких-то, особенных, это уж точно, может быть, и заграничных, приятных для глаз плафонов.

Мы допили водку. Допили.

Теперь нам было — чего там скрывать? — совсем хорошо.

По небритым щекам ворошиловским, бледным совсем недавно, быстрый румянец прошел. И глаза его вдруг разгорелись. Увеличились, угольно-черным каким-то, растаявшим сызнова маслом блеснув из-под век, потеплели, мерцая, светясь, отдаляясь куда-то, зрачки. Нос ворошиловский, крупный, изогнутый, зашевелился, ожил, — ну прямо довольный жизнью зверок, а не нос. Губы его расплзлись, незаметно как-то, в улыбке. Был Ворошилов — домашним, временно, разумеется. Был Ворошилов — надежным другом. На все времена. Жизнелюбивым, спокойным, здоровым, уверенным, сильным. Словом — казак лихой, отдыхающий между боями. Раз уж такая возможность хорошая нынче представилась — право, не грех отдохнуть. Мало ли что предстоит впереди! — все походы, сраженья. Отдых — заслужен вполне. Хорошо иногда — отдыхать!

Эх, поистине благодать!

Ну как мне еще чудесное состояние наше назвать?

Благодать, да и только. Понятно?

И поди докажи мне, попробуй, коли выйдет, что это не так.

Именно так: благодать. Ну а что же еще тогда? Пусть небольшая. Но мы-то оба ее — ощущали!

И не напрасно, конечно, была она так вот, неожиданно, дарована — страждущим нам.

Ну прямо Сочи (Кавказ) или Ялта (солнечный Крым), а не мытищинский, чудный, но все же случайный подъезд!..

Сновавшие мимо нас по лестнице, взад-вперед, вверх и вниз, какие-то люди не обращали на нас вообще никакого внимания, ни малейшего, и совершенно нас, пришельцев, не замечали, будто нас здесь и не было вовсе, а были — просто диван, стол, застеленный скатертью, граненый графин с водой, пальма перистая, и фикусы, и лестница, чисто вымытая, и тихий, уютный подъезд, но только не мы, заглянувшие ненароком сюда — и временно, ненадолго вставшие здесь на постой, на короткий отдых в походе, — и мы с Ворошиловым тоже, так получалось, вовсе не замечали их, этих сновавших мимо, фантомных, условных людей.

Тепло, во всех отношениях приятное, разлилось по всем нашим жилам, по всем суставам нашим и косточкам.

Впору было песню хорошую нам запеть, негромко и слаженно, или, может, беседу, тихую, задушевную, здесь вести.

Но — ждало впереди нас — Болшево.

Нам следовало не расслаживаться в покое, а двигаться дальше.

У нас ведь была — задача.

У нас — была важная цель.

Казак — он всегда в седле.

А мы-то с Игорем были — потомками запорожцев.

Посему — как всегда — вперед!

С неохотою поднялись мы с дивана — и вышли, отсюда, из подъезда, с его уютom, тишиной и покоем, — на улицу, в мытищинский, городской, неумолчный, настыр-ный гул, подмосковный, провинциальный, но — явственный, очевидный, прямо в запахах бензина, солярки, мазута, в облако гари, ну откуда она взялась, только все же была она, гарь, а потом, вслед за ней, освежающий запах свежих стружек сосновых, а еще — запах пыли слежавшейся, и за ним — шорох пыли дорожной, неожиданно поднятой ветром, а там, за углом, чуть подальше, — ворох листьев зеленых в лицо, и сигналы машин, и свисток милицейский, и возгласы чьи-то, и смех, голоса — то мужские, то женские, все вперемешку, вслед за ними — высокие, детские, звонкой, шумной гурьбой, голоса, и вокруг — полдень, молодость, лето, — мы вышли на солнечный свет.

Почему-то я оглянулся — и увидел вдруг возле двери в покинутый нами подъезд вовремя не замеченную ни мною, ни Ворошиловым надпись, весьма выразительную: «Мытищинский горком партии».

Я толкнул Ворошилова в бок и показал на скромную — и такую солидную — вывеску, доходчиво поясняющую, где мы только что побывали.

Поначалу Игорь никак на это не отреагировал.

Был спокоен, задумчив. И бровью казацкой своей не повел. Но потом до него — дошло.

Посреди тротуара мытищинского, в беспокойной гуще людской, он широко, с былинным размахом и удалством, будто бы раздвигая воздушное, полное звуков, и запахов, и опасностей, и радостей мимолетных, и всяких чудес, пространство, а вместе с ним и всю эту, со всех четырех сторон, вплотную, давно и настырно, с подвохами, с заковырками, с бесчисленными своими загадками и парадоксами, окружающую его, раздражающую, поражающую, умиляющую его тем не менее, потому что всякого на-

видался, казалось бы, а вот надо же, что-нибудь поновее непременно преподнесет, ирреальную, нашу, родимую реальность, развел руками, кратко заметив:

— Сподобились!

И сделал весьма неожиданный, но вполне оправданный всем его грустным жизненным опытом вывод:

— Ну и что? Подумаешь, важность! И в горкоме партии можно, если очень захочется, выпить. Вот и мы: захотели — и выпили. Все-таки — не под забором, не в каком-нибудь закутке. И ментов там, это уж точно, ты пойми, просто быть не могло. Да еще и уютно, тихо. Пальма, фикусы. Мягкий диван. И графин с водой. И, старик, наготове — стаканы чистые! Все для нас было приготовлено. Будто ждали там именно нас. Ну и горкомы пошли в Подмоскovie! Чудо-горкомы! Кавказское побережье, а никакой не горком! Летний отпуск там проводить можно запросто. Партия! Ишь ты! Если бы сфотографироваться нам с тобой там, под пальмой, под фикусами, да показать знакомым фотографию эту, с надписью крупной: «Привет из Сочи!» — то ни за что не поверили бы, что не в Сочи с тобой мы снимались, а в Мытищах, в горкоме партии!..

Потом подумал и буркнул:

— Сами небось в этой партии, все поголовно, — пьют!..

Он покрепче к боку прижал старую папку с рисунками, я на плечо закинул опустевшую сумку, которая должна была нам еще, в скором будущем, пригодиться, — и мы, убыстряя шаг, направились напрямик к станции, к электричке, — и успели мы на нее, без всяческих происшествий, чудом, наверное, вовремя.

С Божьей помощью, это уж точно, добрались мы вдвоем и до Болшева.

Отыскать там киношный Дом творчества оказалось делом несложным.

Территория Дома творчества была почему-то безлюдной.

Никого, никогошеньки нет.

Почему — непонятно. Загадка.

Что стряслось? Что за странность такая?

Куда они все, киношники эти, вдруг подевались?

Ветром их, что ли, каким сдуло ненастным — всех, разом?

Или еще что-нибудь необычное, непредвиденное, из ряда вон выходящее, такое, чего, понятно, не только мы с Ворошиловым предположить не могли, но и все вообще никак, похоже, не предполагали, ужасное что-то — случилось?

Оказалось, что все — обедают.

Распорядок дня в Доме творчества у киношников наших такой.

Режим. По-советски — привычный.

Все здесь — по расписанию.

В том числе и питание.

Мы, решив к народу идти напрямую, зашли в столовую.

Из-за прикрытой, высокой, широкой, стеклянной двери доносился до нас, прищельцев, нестройный гул голосов киношных, звяканье ложек и прочие характерные звуки, сопровождающие процесс поглощения пищи.

— Вы кто? — поднялась нам навстречу бдительная дежурная.

Она, разумеется, сразу, моментально сообразила, что мы — не свои, а чужие, незнакомые, так, посторонние.

Но — мало ли кем эти люди, посторонние, незнакомые, чужие, а не свои, вдруг могли оказаться?

— Я Алейников! — очень спокойно, так, для справки, ответил я.

— А я — Ворошилов! — с некоторой аффектацией выкрикнул Игорь.

— А-а! — расплываясь в улыбке, только-то и сказала бдительная дежурная.

И услужливо посторонилась, пропуская нас, незнакомцев, ставших сразу знакомыми, в зал.

Да и как же ей было, дежурной, согласиться, не посторониться, как же было ей не пропустить нас?

Алейников — батюшки, это ведь, посудите сами, фамилия кинематографическая, уж Алейникова Петра, знаменитость, актера, все знают.

Ворошилов же — тут фамилия за себя сама говорила, о начальстве напоминала, и не только о нем, но еще и — ох, повыше бери! — о власти.

Кинематографисты советские в час, предписанный им, — обедали.

Оказалось их, творческих личностей, в столовой одной — многовато.

Все столы, до единого, были творцами прекрасных грез и видений сказочных — заняты.

Казалось, сама идея эта — обеда вовремя, с явной пользой для здоровья, после праведных, только так, и никак не иначе, трудов, обеда — а после него и отдыха послеобеденного, необходимейшего, целительного, благотворного, идея вполне разумная и всем едокам киношным понятная с полуслова, с полувзгляда, витала в воздухе.

Еда, к столу подаваемая, должна была пережевываться тщательно, хорошо желудками всеми усваиваться.

Ничто, при любой погоде, при любом настроении, даже неважнецком или плохом, вопреки настроенью хорошему, то есть — норме, для всех советских, в коммунизм шагающих, граждан, создающих искусство главное, всех важнее на свете — кино, не должно было помешать естественному процессу, — ибо важен он, как и кино, для людей, — поглощения пищи.

Ведь это прямым, прямее некуда просто ведь, образом сказывается на творческом тоже серьезном, процессе.

А что — повторим, для памяти, чтоб усвоить надолго, — важнее всех искусств остальных, какими бы ни бывали они заманчивыми, для кого-то, как ни пытались бы на передний вылезти план?

Ясное дело, кино.

Вот киношники и питались.

Питались — целенаправленно.

Прилежно. Сосредоточенно.

Жевали пищу — не просто столовскую, общепитовскую, — не манну, конечно, небесную, — но, видимо, пищу особую, для избранных, домотворческую, — такую, какую заслуживали, — такую, которая им дана была — свыше ли? — вряд ли! — как и нынешний, вроде бы творческий, а может, и праздный день.

Однако на голоса наши — их головы, каждая — семи пядей во лбу, повернулись — все разом, немедленно, — к нам.

Киношные умные головы повернулись, как на шарнирах, в нашу сторону — и на нас уставилось множество глаз.

Я поначалу — поморщился. Ишь ты! — плятятся. Надо же! Все. Беспардонно. Бесцеремонно.

Потом — нахохлился. Ладно. Пяльтесь. Переживем.

Но вовремя спохватился — и сразу же взял себя в руки.

Зачем же смущаться, нервничать? Хотите — ну что же, смотрите. Пожалуйста. На здоровье.

Да, вот мы стоим — такие, как есть, — чужаки, пришельцы, — мы здесь, наяву, перед вами.

Занятный был у нас вид, наверное. Право, занятный. А может — и необычный. Для многих — и впрямь непривычный.

Ворошилов, длинный, с взъерошенной шевелюрой, смущенно глядящий на киношников, прижимающий к боку старую папку с рисунками, этакий тип — откуда-то извне, похоже — что с улицы, в одежде своей изношенной, в стоптанных башмаках, непохожий на элитарную, так считалось, киношную братию, залетный, инопланетный, неведомо как, и зачем, и ветром каким, попутным иль встречным, сюда занесенный, странный, страннее некуда, пусть и так, все равно, человек.

И я тоже, что там скрывать, в далеко не новой одежде, старающийся не смущаться, помнящий твердо о том, что следует марку держать, но прекрасно, лучше других, понимающий, что и я в этой чуждой, и для меня, и для Игоря, обстановке — просто случайный гость, непонятно каким же образом вдруг появившийся здесь — да еще и впущенный, надо же, нарушитель правил, вовнутрь, в эту столовую, чуть ли не в святилище, для кого-то, положим — для администрации, допустим — для едоков киношных, во всяком случае — человек неизвестный, неясный, да еще и глядящий вперед, прямо в стаю творцов прекрасного, с откровенным, пламенным вызовом.

Словом — как же сказать-то подходчивее, — загадочная — надеюсь, дошло до кого-нибудь, проняло наконец-то — двоица.

На нас не просто смотрели, нас — разглядывали, как в зверинце, с любопытством, бесцеремонно, — до того, до такой, действительно инопланетной степени, до такой высоты звенящей, мы не вписывались вот в эту, мнящуюся, конечно же, обедающим киношникам — элитарной, само собою, для избранных, для посвященных, интеллигентную, замкнутую, для чужаков, среду.

И вдруг — Ворошилова — надо же, — разглядели, с трудом — но узнали.

Из-за столов, оторвавшись от еды, уже поднимались с радостными восклицаниями — действительно многочисленные, еще со времен учебы во ВГИКе, где был он звездой восходящую киноведческой, Игоревы знакомые.

— Игорь! Ты?

— Ворошилов, привет!

— Сколько лет, сколько зим!

— Игорек!

— Игореша, иди сюда!

— К нам иди! Вот встреча так встреча!

— Братцы, это же Ворошилов!

Игорь довольно жмурился, слыша крики эти: узнали!

К нам подбежала стройная, приветливо улыбающаяся, миловидная девушка, сразу же быстро затараторила:

— Игорь, здравствуйте, здравствуйте! Я — дочка Адика Агишева. Папа так часто вас вспоминает. Куда ж вы пропали? Я так рада увидеть вас здесь. А это кто? — показала она глазами, сверкнувшими огнем, на меня. — Ваш друг?

— Это мой друг Володя Алейников. Он — поэт. Известный. Думаю — лучший, — ответил ей Ворошилов.

— Ой, как интересно с вами! — воскликнула дочка Агишева. — Ну пойдёмте, пойдёмте к нам. Покушайте. Мы сейчас что-нибудь быстро придумаем. Идите же, не стесняйтесь.

Агишев был закадычным ворошиловским другом во ВГИКе.

С годами стал он успешным, известным весьма сценаристом.

Игорь давно с ним не виделся. Но рассказывал мне о нем как о человеке хорошем, просто — очень хорошем, надёжном, верном дружбе и верном искусству, человеке — каких немного на веку своем он встречал.

Раз дочка Адика Агишева зовет — к ней надо идти.

И мы, друг на друга взглянув, шагнули вперед — и прошли в глубину столовой — и там присели вдвоем за стол.

Нас киношники чем-то кормили.

Отовсюду съестное тащили.

— Вот суп!

— Вот салат!

— Вот котлеты!

— Вот компот!

— Вот еще компот!

— Угощайтесь!

— Кушайте!

— Ешьте!

— Наедайтесь впрок!

— Есть добавка!

— Если надо, чай принесем!

Нам что-то, все вместе, они, угощая нас, говорили.

Голоса их — сливались в сплошной, непрерывный, раскатистый гул.

Ворошилову — все его давние знакомые были рады.

Видно было, что бывшие вгиковцы, в люди выбившись, то есть, став постепенно профессионалами, режиссерами, сценаристами, операторами, киноведами, актерами, каждый по-своему, как уж вышло, сделав карьеру или только мечтая об этом до сих пор, хорошо его помнили, даже больше того — любили.

Ворошилов, отведав супа, похвалил его, съел еще полтарелки, съев котлеты, съел добавку, потом намазал хлеб горчицей и съел этот хлеб, съел салат и еще салат, запил это компотом, чаем, поразмыслил немного, и выпил снова чаю, погорячее, и насытился вроде, и с некоторым усилием над собой объяснил киношникам, вкратце, но доходчиво, чтобы поняли, почему мы с ним в этот день появились именно здесь.

Цель его — проста и разумна: повидать своих старых знакомых, но не только их повидать, вместе с ними вспомнить о прошлом, рассказать им о настоящем, обо всем, что им интересно и ему интересно, поведать о таком, что всегда для души и для сердца дорого, нет, цель его — еще и продать, если это возможно, какое-то, больше, меньше ли, суть не в этом, и не в этом загвоздка, количество, взятых им с собою работ.

— Жить на что-то ведь надо! — подвел он, головой тряхнув удаюю и рукою махнув, черту под запутанными своими, хоть была в них наивная искренность, с прямою крутой, объяснениями.

Киношники поначалу помедлили — а потом будто бы взорвались.

Они почему-то пришли в небывалое возбуждение.

Они, все разом, рвались тут же что-нибудь сделать, немедленно что-то важное предпринять.

— Да!

— Конечно!

— Само собой!

— Мы поможем!

— А как же!

— Купим!

— Где работы?

И — началось...

Киношники говорили все вместе, громко, взволнованно, друг друга перебивая, размахивая руками.

— Давайте смотреть работы!

— Скорее!

— Пойдемте смотреть!

Они подхватили нас — и вытащили во двор.

Там, возле зеленой скамейки, на которую, ничего толком понять не успев, присели мы с Ворошиловым, они столпились внушительной гурьбою — и принялись, времени не теряя, рассматривать содержимое взятой нами с собою папки.

Рисунки, один за другим, вынимались из папки, являлись на свет и на суд людской — и тут же передавались из одних рук в другие руки, по эстафете, по кругу.

Раздались, разумеется, вскоре на пространстве двора киношного, поднимаясь к листве подмосковной, к небу синему, характерные, в блесках дружных эмоций, возгласы.

— Блеск!

— Отлично!

— Вот это да!

— Ничего себе!

— Не ожидал!

— Посмотрите-ка!

— Чудо!

— Шедевр!

— И еще! И еще!

— Прекрасно!

— Превосходно!

— Ну, Ворошилов!

— Ну, Игорь!

— Васильич!

— Талант!

— Безусловно!

— Какой художник!

— А я ведь еще во ВГИКе всем вам говорил, что со временем из него настоящий художник выйдет. И — видите — вышел! А вы его все когда-то в киноведы идти агитировали.

— А я почему-то сразу поняла: вот это и есть его, Игореша, призвание!

— А я, что скрывать, просто-напросто поражен. Для меня это — праздник. Нет, минутку, вы посмотрите, повнимательнее посмотрите. Какая певучая линия! Какой удивительный образ! Как это все современно, между прочим, и оригинально!

— Ворошилыч!

— Игорь!

— Васильич!

— Старик! Ты нас просто потряс!

— Молодец!

И — тому подобное...

Ворошилов рассеянно слушал всеобщие похвалы — и задумчиво как-то помалкивал.

Слушал гул голосов — и все больше, уходя в себя, да поглубже, отрешаясь от этого дня, от листвы его с синевой поднебесной, от птичьего щебета и от слов похвальных, сутулился.

Слушал возгласы, мнения слушал торопливые — и, почему-то замыкаясь, все больше и больше, глядя под ноги, в землю, грустнел.

Все хотели помочь Ворошилову.

Все киношники, без исключения.

Незамедлительно. Тут же.

На месте. Прямо сейчас.

Но с деньгами, само собою, у всех, кого ни возьми, было, увы, туговато.

Впрочем, трешки вначале, а позже и пятерки, пусть небольшие, что же делать, но тоже деньги, что уж есть, то есть, замелькали мотыльками пестрыми в болшевском, разогретом, но свежем воздухе.

Извлекались они из карманов, из бумажников плоских, из дамских, модных, крохотных кошельков.

Они плыли по воздуху, двигались легкой стайкою — к Ворошилову.

Их горкой хрустящую складывали охотно в его ладони.

Их порою запросто всовывали с размаху ему в карманы.

И навстречу бумажным деньгам — замелькали роем густым, широким потоком двинулись в киношные руки — бумажные, трепещущие по-птичьи в разогретом болшевском воздухе с голосами людскими, листы с ворошиловскими рисунками.

Киношники наседали:

— А это вот сколько стоит?

— А это сколько?

— А это?

Ворошилов, глядя на них, сутулился и не знал, что ему и отвечать.

Вопрошающе, из глубины смущения своего, иногда смотрел на меня.

А что я прямо сейчас мог ему подсказать?

Его ведь рисунки. Пусть сам решает, как ему быть.

А вокруг зудели, звенели, разливались всюду голоса:

— Ой, купила бы я вот этот рисунок, но у меня, к сожалению, только пятерка!

— Поищу-ка. Так, трешка. Еще два рубля. И вдобавок — мелочь. А рисунок — хочю купить. Что же делать? Может, отдашь?

— Игорь, слушай меня, дорогой, а за семь рублей мне отдашь?

Ворошилов махнул рукой:

— Да что вы переживаете? Сколько есть у кого, за столько и берите! Рисунки — ваши!..

Но так оно, как-то само собою, уже и было.

Сколько там у кого денег в наличии было, столько ему, художнику, тут же и отдавали.

Содержимое папки изрядно вскорости поредело.

Мы сделали перерыв.

К тому же, как оказалось, киношникам после обеда полагался заслуженный отдых.

А у нас еще несколько летних полновесных дневных часов, до наступления вечера грядущего, было в запасе.

Киношники, прижимая к сердцам своим, переполненным самыми теплыми чувствами, ворошиловские рисунки, начали расходиться, не прощаясь, мол, вот поспим, да и свидимся вновь непременно, заверяя нас, что продолжают свою акцию дружеской помощи Ворошилычу, их Игореше:

— Здесь кое-кто есть побогаче!

— Посолиднее люди найдутся!

— Юткевичу надо рисунки показать обязательно, вот что!

— Юткевичу! Да! Он купит!

— Галичу показать надо попозже. Он купит.

Мелькнул посреди двора, поодаль от суеты людской, режиссер Мотыль. Помахал рукой Ворошилову:

— Игорь, ты слышишь? Привет!

— Привет, Володя, привет! — откликнулся Ворошилов. — Как жизнь? Чем ты занят сейчас?

— Да вот новый фильм снимаю! — залезая в машину, ответил Мотыль. — Приключенческий фильм. С восточным, представь себе, колоритом. Советский вестерн.

Мотор заработал. Машина плавно тронулась с места.

Мотыль, еще раз помахав рукой своей режиссерской, уже из окошка машины, и в нашу, отдельно, сторону, и всем, кто был во дворе, всей публике, оптом, уехал.

Этим новым фильмом его, как несколько позже выяснилось, стал всем известный нынче фильм «Белое солнце пустыни».

Киношный народ как нахлынул, так, сам по себе, и схлынул.

Надо нам было чем-то заполнить образовавшуюся в общении с многочисленными киношниками, пожелавшими помочь Ворошилову, паузу.

Да и денег, хотя они, эти деньги, и мелкие были, оказалось, по нашим тогдашним меркам, довольно скромным, в наличии у Ворошилова, как ни крути, немало.

— Ты бы, Игорь, хоть по десятке работы свои продавал! — сказал я ему заранее, твердо и грустно, зная, что втолковывать это ему бесполезно. — Тебе действительно на что-то ведь надо жить. А ты такие отменные рисунки не только запросто раздаешь за гроши, но еще и, всем на радость, щедро раздаливаешь.

— Наплевать на деньги! Подумаешь! Тоже невидаль экая, деньги! — взглянув на рубли, отмахнулся от них, как от мух, Ворошилов. — Посмотри, вон их сколько уже есть у нас. Что, мало? Нам хватит сейчас. А потом — потом видно будет, как быть. А рисунки — да пускай они у людей лучше будут, эти рисунки, раз уж они им так нравятся

— Поступай как знаешь, — сказал я. — Пожалуй, ты все-таки прав.

— Надо выпить! — в папку сложив оставшиеся рисунки, сформулировал мысль, давно сидевшую в нем, Ворошилов. — Надо выпить, и поскорее. Ты как? Со мною согласен?
— Можно, пожалуй, и выпить, — согласился с Игорем я.

Мы сходили вдвоем на станцию, купили в пристанционном магазинчике, закутке, для сограждан спасительном, выпивку.

Чтобы выпивки этой побольше получилось, да вышло покрепче, накупил Ворошилов тогда все того же, всеми в стране потребляемого поголовно, широко, повсеместно, дешевого, даже самого что ни на есть дешевого, дальше уж некуда, забористого, потому что — крепленого, на спирту, то есть с приличными градусами, белого, посветлее, и красного, мутноватого, с осадком на дне бутылок, с перебором явным, по части в напитке имевшейся краски, да представьте, обычной краски, с откровенным, большим перебором, но зато достаточно быстро на мозги выпивающих действующего, как нельзя, нам верилось, лучше годящегося для выпивки, и особенно для мужской, кочевой, боевой, суровой, без излишеств, козацкой выпивки, отечественного, советского, неизвестно какого разлива, да не все ли равно нам, портвейна.

Взяли мы и закуску — плавленные, по привычке тогдашней, сырки, мятые, скользкие, пахнущие чем-то молочно-затхлым, на ощупь ну прямо резиновые, а то и не просто плавленные, а какие-то вроде расплавленные, но зато по цене для всех доступные, просто дешевые, с натяжкой большой съедобные, согражданам нашим знакомые широко и давно, сырки, двести граммов грудинки — роскошь, а посему продавщице было сказано, в мягкой форме, со всею возможной вежливостью, порезать ее потоньше, на что она, кисло поморщившись, просто грубо ее разрезала на четыре неровных куска, — ну и, конечно же, хлеб, две буханки, на всякий случай, одну — бородинского, черного, посвежее, другую — белого, почерствее, но тоже мягкого, не похожего на сухари, — после чего Ворошилов, подумав буквально секунду, решительно прикупил еще и колбаски, так, для баловства, полкило, всего-то навсего, «Чайной» колбасы, розоватой, мягкой, как желе, с запашком, на рубль, — а после, не удержавшись, приобрел, завидев ее остатки в дальнем углу прилавка, и полкило соленой слежавшейся кильки, — с такими, по тем временам, внушительными запасами съестного, разнообразного, с выбором, нам с Ворошиловым не только в свое удовольствие выпивать на родной природе, но и кое-какое время существовать, питаясь умеренно, с экономией продуктов, купленных нынче, можно было вполне.

Обремененные всем закупленным в магазине, вернулись мы на территорию киношного Дома творчества.

Где нам выпить? — вновь назревал простой всегдашний вопрос.

Размышлять над этим всерьез, разумеется, мы не стали.

Приглянулась нам как-то сразу и симпатию вызвала нашу стоявшая чуть в стороне от корпусов домотворческих, в окружении буйной зелени, даже на первый взгляд, это видно было, уютная, совершенно пустая беседка.

Вот и отлично. Лучше, наверное, и не придумаешь.

Тишина. Это важно. Спокойствие.

Никто нам не мешает.

Значит — идем туда.

Устроились мы — в беседке.

Сидели вдвоем, в тиши подмосковной, неторопливо попивая вино, степенно, чинчарем, закусывая, чем Бог послал, что купили, недавно совсем, в магазине, разговаривали — о чем-то своем, как всегда — о своем.

Громадные, кровожадные комары донимали нас непрерывно — и приходилось, ничего не попишешь, терпеть.

Но не так-то просто, поверьте, давалось нам это терпение.

И откуда здесь, в Подмоскovie, комары такие ужасные?

Всю гармонию, можно сказать, нарушают. Ни на секунду покоя нам не дают.

Они не просто зудели в прогревом слоистом воздухе, и не просто повсюду пели, тонко, настырно, пронзительно, зыбко, тревожно, густо, и не просто держали высокую, долгую ноту, стонали, уходя в этом стоне куда-то совсем далеко, в ультразвук, на такие частоты, где пение их прямоком уходило в подкорку, в подсознание, и там оставалось, глубоко, в мозгу, а не в свете неспешного, теплого дня, — нет, они гудели, как будто штурмовики, ревели, взывали, как боевые пронырливые машины летучие, эти злющие создання природы, и спасу от них, к сожалению, не было.

Поневоле, так получалось не по нашей вине, обстановка начинала напоминать, вот уж бред и кошмар, фронтовую.

Отмахиваясь машинально, с каждой минутой все чаще, от хищников-комаров, а то и метко прилепывая их с размаху широкой ладонью, Ворошилов сердито ворчал:

— Упыри! Кровососы! Вампиры!

И расправлялся тут же с очередным насекомым, отчего то на лбу, то на шее, то на узкой, небритой щеке, то на руке у него возникали потеки кровавые, брызги мелкие, крупные пятна, им стираемые, без особого усердия, то платком замусоленным, то музыкальными, гибкими, длинными пальцами, а то и прямо, — чего, мол, там сейчас мудрить, если надо постоять за себя, — кулаком.

Доставалось и мне от этих летучих чудовищ, жаждущих человеческой свежей крови.

Комары, досаждавшие нам с изуверством, не унимались. Наоборот, их полку, замечали мы, все прибавлялось.

Может быть, только здесь, в одной из немногих, считанных, недоступных для чужаков, для вторжений извне, цитаделей советского киноискусства, в непрерывном, густом роении сплошь творческих, занятых, деловых, да еще и с амбициями, четко знающих цену себе — и другим, кто помельче, личностей, незаменимых работников, творцов, а то и, подумав ведь, натуральных светил, развелись такие вот комариные, злющие, хищные особи, вампиры, мутанты, гибриды, насосавшись киношной крови, раздобрев на харчах дармовых, расплодившись, заматерев, регулярно, исправно питаясь и давно уж войдя во вкус, но, поскольку киношная кровь им, возможно, приелась уже, тут же, скопом, ордой всей, возжаждавшие вкуса нового, неизведанного, соблазнительного, притягательного, — вкуса крови, богемной, нашей, нищей крови, а все же — здоровой?

Да кто его знает! Может быть, так оно все и было.

Их, комаров окрестных, отовсюду, со всех сторон, к нам, скитальцам усталым двум, не куда-нибудь, а сюда, лишь сюда почему-то, к нам, двум друзьям хорошим, в беседку, словно что-то неумолимо притягивало, как магнитом.

Наверное, наше нынешнее присутствие именно здесь вдохновляло их на непрерывные, с жаждой крови нашей, атаки.

А в остальном — все было, смело можно сказать, нормально.

И вполне уютно, замечу, мы чувствовали себя здесь, вдвоем, в беседке, средь парковой, не совсем ведь киношной зелени.

Может быть, — кто скажет сейчас, кто подскажет, кто прояснит мысли, чувства, мечты и чаянья? — в задушевном общении нашем было все-таки нечто особое, полагаю — традиционное, даже, думаю, ритуальное, корнями вглубь уходящее, в древность, где

даль и высь в ясном сиянье слились, нечто схожее, хочется верить, с общением удивительным старых китайских поэтов, например, с той только поправкой, что те, неизменно чувствуя средь природы себя как дома, в процессе своей беседы неспешной периодически наливали в чашки свои подогретое, так полагалось когда-то, вино из чайника, — ну а мы наливали себе свое покупное, дешевое вино в стаканы граненные из бутылок, так уж привыкли мы, — а вот ритм, и тон, и настроенность, и хорошая простота наших слов, а с нею и подлинная глубина их порой, и взаимное доверие, и само, Игорево, и мое, и общее наше, теперешнее, ощущение, вот его свет первозданный, себя во времени, которого, так нам казалось, впереди еще ох как много, и, при звуком неминуемым, ощущение себя в пространстве, которого тоже было вдосталь, и позади, и впереди, повсюду, куда ни шагни, везде, и понимание нами друг друга всего с полуслова, и надежды наши на то, что все еще образуется, все наладится там, в далеком, или близком уже, грядущем, и вера наша в свое звездное предназначение, и особая музыка нашей с Ворошиловым дружбы — я именно о ней говорю сейчас, — и весь этот лад, присутствующий в каждой нашей с ним встрече, в речах, в поступках, помыслах, жестах, в различных житейских историях, и весь этот свет нашей творческой, неповторимой дружбы, — все, совершенно все, что связано было прочно с пребыванием нашим в мире юдольном, и с воспарением нашим над ним, и с нашей созидательной, сложной работой, во имя добра на земле, для торжества добра над оголтелым злом, — все было для нас так дорого, и даже, скорее, свято, — и сознаюсь, что выразить это мне, поседевшему, трудно, потому что подобная дружба дается, конечно же, свыше, дается, как дар великий, единожды и навсегда.

Симпатичная — век бы ей любовался, такой хорошенькой, век бы помнил ее — синичка прилетела из глубины крон древесных лиственных к нам и уселась — вот, мол, и я — на перилах нашей беседки, вопросительно и лукаво все поглядывая на нас, не смущаясь присутствием нашим здесь, в ее подмосковной вотчине, быстрым, кругленьким, точно бисерным, с огоньком смекалки и смелости, быстрокрылой, летучей, птичьей, развеселым, но и с грустинкой потаенной, своим глазком.

Я насыпал ей хлебных крошек.

Наша гостыя, нас не пугаясь, доброту ощущая нашу, совершенно спокойно, прыгая то туда, то сюда, в беседке, то ко мне поближе, то к Игорю, влево, вправо, кругами плавными, вслед за крошками хлебными, вкусными, для нее, принялась их клевать.

К ней откуда-то прилетела, по сигналу, видать, особому или просто свою подругу вдруг завидев издали и решив пообщаться с нею, да еще и отведать нашего, для пичуг, угощения нежданного, здесь, у нас, и другая синичка.

Игорь тут же, да пощедрее, наделил наших гостей пернатых, залетевших в наш временный стан, кочевой, походный, козацкий, стан в беседке, на территории Дома творчества всех советских или, может, не всех, но избранных, только все ведь равно киношников, пусть приятелей и знакомых среди них у него немало было, слишком большая разница между ним и этим вот племенем, между мною и ними, была, вот и все, на поверку, дела, пусть судьба нас к ним привела, — наделил, от души, едой.

Птички клевали старательно крошки, а мы с Ворошиловым умиленно смотрели на них.

Такая вот получилась, как-то просто, сама собою, домотворческая идиллия.

Синей тенью из лиственной зелени вдруг шатнулся навстречу Галич.

Был человек — это чувствовалось по лицу его, мертвенно-бледному, по выражению глаз, отчаянному, смятенному, по его дыханию, частому, прерывистому, нездо-

ровому, — с глубокого, глубже некуда, занырнуть-то туда несложно, а вот вынырнуть посложнее, это знали мы все, похмелья.

С откровенной надеждой он, очевидно, еще не решаясь попросить нас о срочной помощи, а тем паче с ходу, с налету, этак запросто, вроде по-свойски, по нахалке, присоединиться к нашей тесной компании, где много выпивки было стандартной, с расстояния в три-четыре, да, всего-то, коротких шага, страшноватых, и все же возможных, если чудо произойдет, если здесь-то его поймут, и помогут ему немедленно, и поддержат его непременно, потому что нельзя иначе, потому что иначе кранты, но будто бы из другого, неведомого измерения, посмотрел, набычьась, на нас.

И страшная, безысходная, отчаянная тоска, откуда-то из-под кожи, из нутра, из-под мутных, расширенных, выкаченных наружу, малоподвижных зрачков, неожиданно, обезоруженно, доверительно, откровенно проявилась в его тяжелом, обвисающем вниз лице.

Такая тоска — ну словно невысказанный, немой, крюками записанный древними для неслышных еще песнопений, в укор настоящему смутному, в поддержку грядущему светлому, где все еще, может, поправится, наладится, слюбится, сдвинется, вполне вероятно, к лучшему, а может быть, и к трагическому, кто знает, кто скажет, гадать бессмысленно, видимо, — крик.

Нет, сильнее, ужаснее, — видимый, но пока что без голоса, — вопль.

На столике перед нами, кочевыми друзьями, рядышком с разложенной на газете скромною нашей закуской, стояли бутылки с портвейном.

И в сумке походной, там, на дощатом полу беседки, под столиком с нашим питьем, какое уж было куплено, другого в наличии не было, и едой магазинной советской, лежало несколько полных, запечатанных крепко бутылок.

Питья, почему-то названного торговлей союзной портвейном, хотя богемные люди называли его жопомоем, и право имели на это, было у нас предостаточно.

Не просто, как говорится, в самый раз и не только вдосталь, но даже, можно, пожалуй, похвастаться этим, с избытком.

Так что, ежели что, вполне можно было и налить хорошему человеку.

С нас не убыло бы, уж точно.

Да это ведь и когда-то — ну, вспомните, ветераны, могикане, герои прошлых героических лет, уцелевшие в неравной борьбе с алкоголем и ненавидимым строем, сулившим сплошные беды и бесчисленные невзгоды богемной отчаянной братии столичной, — подразумевалось, всегда и везде, у нас — не только самим, да и только, с эгоизмом противным, с жадностью, неприемлемой, скучной, выпить, но и людей угостить, а особо страждущих — выручить.

В те годы, с кошмарами их похмельными, с магазинными очередями длинными, нервичными, за бутылкой желанной, чтобы поправить пошатнувшееся здоровье, чтобы стать человеком снова, понимать, где находишься ты, где стоишь, или, может, сидишь, или, может, шагаешь куда-то, а куда — поди догадайся, не гадай, не надо, и так все, похоже, ясно для всех, да, конечно, яснее некуда, все во мраке и все во мгле, все в бреду на этой земле, только звезды есть в небесах, только стрелки на всех часах то стоят, то снова идут, и кого-то, вроде бы, ждут, ну а где, и когда, и зачем, это стерлось у всех, насовсем, стерлось в памяти, нет, живет, чем-то странным теперь слывет, — была в выпивонном деле у всех мужиков советских, на всех возможных широтах, по всему пространству громадному Союза, державы прежней, Империи, — круговая — коло древнее вспомним — порука.

Спасали тогда человека — не сочувствием, не участием вялым, так, может, зачтется, а может, и обойдется, и лучше уж проявить, хотя бы разок, участие, но — деятельно, совершая, от души, бескорыстно, поступки.

Себя обделяли, бывало, но других всегда — выручали.

Чудеса настоящие храбрости совершали, случалось, и часто, чтобы срочно где-то добыть, где угодно добыть, и все тут, принести как можно скорее погибающему от муки человеку необходимое для скорейшего поправления драгоценнейшего, в условиях нелюдских, жестоких, здоровья, а то и для продолжения жизни земной питье.

Вообще, читатель мой, выпивка в родном, для меня, для моих друзей давнишних, отечестве, при советской, канувшей в прошлое, как считают в газетах, власти, — это, твердо я знаю, единственный в своем роде, неповторимый, грандиозный, — и по масштабам, и по мощной полифонии судеб, жизней, историй, свершений, расставаний, надежд, утрат, обретений возможных, — эпос.

И когда-нибудь, верю, даст Бог, кто-нибудь из наших сограждан, испытавших все это на собственной, только так, разумеется, шкуре, воплотит его, зов ощутив, горний, или юдольный, в слове.

— Надо нам похмелить человека! — предложил я немедленно Игорю.

Он взглянул, сощурясь, на Галича — и мгновенно понял его плачевное и печальнейшее, дальше некуда, состояние.

— Саша, — позвал Ворошилов, — иди поскорее к нам. Сейчас мы тебе нальем портвейна. Это поможет.

Галич, помедлив секунду, качнулся вперед, тяжело вздохнул, шагнул, из тоски своей, из отчаянья, — к нам, ждущим его с питьем, предлагающим помощь свою, просто так, чтоб спасти человека, поддержать его, жизнь ему, в этот день, и час, и минуту, продлить, — с превеликим трудом, шаг за шагом, передвигаясь, шатаясь, зашел наконец в беседку.

Он с натугой, с хрипом дышал.

Он молчал — и смотрел, из прорвы, из пустыни своей тоски, из другого, полурекального, неизвестного измерения, — на вполне реальное, зримое, похоже — материальное, в немалом вроде количестве имеющееся у нас и вполне доступное, кажется, для него, страдальца, вино.

Ворошилов налил ему полный до самых краев крепким красным портвейном щербатый граненый стакан:

— Пей! Прямо залпом. Быстрее!

Галич трясущейся, слабой от мучений своих рукой взял стакан, сжал влажными пальцами, очень медленно, с явным усилием, поднес его все же ко рту — и так же медленно выпил.

Сжал сухие, в трещинах, губы.

Сел напротив. Скорбно молчал.

Ждал — когда же вино подействует.

— Ну как? — спросил Ворошилов.

Галич пожал плечами: ничего, мол, еще не чувствую.

Надо было ускорить его — здесь, у нас, — возвращение к жизни.

Я налил ему второй — с портвейном белым — стакан.

Галич, уже быстрее, выпил покорно вино.

Посидел, надувшись, набывшись, сжав кулаки, крепясь, безмолвно, словно во сне, шевеля сухими губами.

Лицо его, мертвенно-бледное вначале, стало уже серым, землистым, потом — немного порозовело.

Движение к лучшему, что ли?

Он, кажется, оживился.

— Ну что, отошел? — сочувственно, проявляя заботу о ближнем, спросил его Ворошилов.

— Да вроде бы помогает! — стараясь поверить в эту винную скорую помощь, а больше веря, конечно, в нашу, людскую помощь, в наше с Игорем в этом деле, сложном деле его спасения, восставанья из мук, участие, печально и глухо не вымолвил, а нутром всем выдохнул Галич.

— Поможет, поможет! Я знаю! — заверил его Ворошилов. И налил ему решительно полный третий стакан. — Бог Троицу любит. Давай пей, и все тут. Сейчас полегчает.

Галич как-то послушно, покорно, механически, но и осмысленно, заверениям Игоря веря, сразу выпил третий стакан.

Тогда ведь мы с Ворошиловым понятия не имели, что у Галича было это не просто похмелье, привычное, для многих, почти для всех, вовсе не традиционное, не рядовое похмелье, которое все лечили спиртным, а, скорее всего, ломка так называемая, потому что уже давно, по причинам достаточно сложным, в коих трудно теперь разобраться, и не надо в ней разбираться, в этой гуще страстей, и сомнений, и страданий, кололся он.

Как тогда выражались и нынче говорят — сидел на игле.

Но спиртное-то — как без этого? — Галич тоже употреблял.

И мы, и знакомые наши это воочию видели.

В те годы пел Галич, бывало, в компаниях авангардных, богемных московских художников.

Пел, струны терзая гитарные, вдохновенно глазами сверкая, повышая и понижая, артистично, свободно, голос, в мастерской у Ильи Кабакова, на чердаке громадного, многокорпусного, странноватого, дореволюционной постройки, всем знакомого дома, на Сretenском, в самом центре столицы, бульваре, пел, в ореоле своей тогдашней, неофициальной, подпольной, но прочной, славы, находясь в кругу благодарных, внимательных, чутких слушателей, своих, надежных вполне, единомышленников, пел — и всегда перед ним стоял стакан со спиртным.

Наивные люди, мы с Игорем твердо верили в силу привычного для всех нас вина, всегда улучшающего любые, даже тяжелые самые, похмельные состояния.

А Галич не то чтобы как-то, выпив, повеселел, но стало в нем больше жизни.

По крайней мере, мы видели, задышал он теперь поспокойнее.

А лицо — лицо его все же оставалось малоподвижным, отяжелевшим, набрякшим, нависающим отрешенно над столиком с нашей выпивкой и закусью слишком скромной, такой уж, какая была у нас, — посреди беседки.

И только глаза его — словно выглянули наружу откуда-то изнутри, из глубины тоски, тягостное присутствие которой здесь, рядом с нами, ощущал я болезненно-остро.

— Тяжело, — почти шепотом, тихо, произнес неожиданно Галич, — тяжело мне совсем, ребята!

Потом на минутку задумался.

Тень смущения, резкая тень, прошла по его лицу.

Но все же решился он сказать нам то, что хотел.

— А что если... — начал он и умолкнул вдруг. Но потом пересилил себя и продолжил: — А что если мне махануть всю бутылку, разом? Клин клином вышибают — ведь так говорят. А что если это хотя бы, пускай ненадолго поможет?

Он уже не вопросительно, а моляще взглянул на нас.

— Да ради бога! — сказал я. — Ежели надо — пейте.

— О чем тут речь! — Ворошилов поддержал меня. — Пей на здоровье.

Он открыл зубами пластмассовую крышечку новой бутылки — и протянул ее, эту бутылку, полную почему-то до самых краев зеленого узкого горлышка, семисотграммовую, пыльную, с этикеткой полуотклеенной, — протянул, нет, заботливо, бережно, вложил прямо в руки Галичу.

Галич вначале растерянно повертел бутылку, и так, и этак, ну а потом тряхнул головой, взболтнул булькнувшее вино, вскинул бутылку наискось, над губами полуоткрытыми, — и осушил ее, до самого дна, буквально в три молодецких глотка.

Перевел, как водится, дух.

Занюхал вино горбушкой бородинского вкусного хлеба.

И что уж точно мы видели, может быть и на время, но — возвратился к жизни.

Хотя и срывались еще иногда с его губ невнятные слова — о тоске, его гложущей, об отсутствии минимального, много ведь и не надо, покоя, но было нам ясно уже, что ему получше сейчас, что ему, в таком состоянии, куда спокойнее с нами, нежели где-то там, у себя, в домотворческой комнате, как в застенке глухом, одному, — и если это, пока еще, был вовсе не тот знаменитый Галич, не светский лев, не душа столичных компаний, не гуляка, натура широкая, хотя, безусловно, и труженик, в недавнем прошлом — советский, модный, преуспевающий, драматург, а в нынешней яви — прославленный в тесных кругах нашей интеллигенции и среди богемы поэт, бард, исполнитель своих, полных печали, надежды, драматургии трагической и любви неразменной к людям, в своем, так все сходится, роде единственных, неповторимых, смелых, рискованных песен, то, во всяком случае, некое обаяние, шарм особый, да еще и такой притягательный, колдовской почти, магнетизм, которые у него были для всех несомненными, просто-напросто общепризнанными, — с усилием как-то, но все же проявились в нем наконец, — и он, человек благодарный, был уже способен к общению.

Он внимательно посмотрел ворошиловские рисунки.

— Замечательные работы! — сказал он. — Да, настоящие. Надо помочь. Обязательно надо, Игорь, тебе помочь. Вот ведь только: пообещаешь, обнадежишь, с похмелья, — и вдруг...

Он запнулся, смутился, сгорбился.

И совсем уже тихо, глухим полупшепотом, грустно продолжил:

— А ведь надо, надо помочь!..

— Ну, себя-то неволить нечего, — так сказал ему Ворошилов. — Пусть идет все само собой. Как уж выйдет. А там — разберемся. Приходи в себя лучше. Держись. Отдыхай. Набирайся сил. Просто — дыши. Смотри — да попристальнее — на мир.

Так вот мы и сидели втроем, за вином, в беседке дощатой, — и негромко, так, что никто не слышал нас тогда, — говорили.

О чем? Да о разном. О том, что развеялось в лиственном шелесте, в птичьем щебете, в свете волшебном подмосковного летнего дня.

Вспоминать об этом — непросто, да и душу ранят теперь, в дни иные, в иное время, отголоски былых речей.

Потом, поправив здоровье и наговорившись с нами, Галич встал, с церемонной вежливостью поблагодарил нас за помощь.

Получилось это, мне помнится, у него неловко и трогательно.

Попытался он улыбнуться — и вышло это не просто грустновато, и только, нет, вышло у него это слишком уж грустно.

— Игорь, Володя! Скажите мне — вы ведь еще побудете здесь до вечера, правда? — спросил он как-то совсем по-детски, но странным образом это сразу соединилось со всем его обликом — крупного, вальяжного, грузного, тертого, выдавшего всякие виды, немолодого уже, но еще и не старого, зрелого, солидного мужика, с его, таким очевидным, еще играющим в нем, сквозь боль, сквозь тоску, сквозь смятение, притяжением, блеском, шармом, с артистичностью несомненной, со всеми теми чертами, которые, в совокупности своей, все время и делали его, человека отважного, в глазах современников — Галичем, запретным и легендарным, выразителем, так получилось, своей, непростой эпохи, чей голос звучал годами с магнитофонных лент по всей огромной стране, чья жизненная позиция вызывала, и это важно, всеобщее уважение, чья трагедия, воплощенная в нем самом, таком, каким был он, приоткрылась тогда перед нами.

— Я вернулся! — заверил он нас и тяжело отодвинулся — в некую странную даль, в сторону, в светлую зелень.

Жить ему оставалось — восемь с половиной, всего-то, лет.

Но никто абсолютно этого — что за доля? — еще не знал.

(...Давней зимой, в феврале восьмидесятого года, познакомился я — случайно, или, может быть, не случайно, и, скорее всего, судьба так устроила все, чтоб встреча наша все же произошла, — с Аленой, дочерью Галича.

Я читал стихи свои людям, собравшимся зимним вечером, чтобы слушать меня, в квартире близких родственников замечательного художника Роберта Фалька, в одном из кирпичных, невзрачных корпусов, образующих нечто вроде крохотного квартала, находящихся во дворе, за приземистым светлым зданием бывшего ВХУТЕМАСа, на Мясницкой, почти напротив столичного главпочтамта.

В начале двадцатых годов где-то здесь, в корпусах этих, временно, после долгих своих скитаний наконец возвратившись в Москву, обитал председатель Земного, вихрем войн, революций, событий небывалых, объятого шара, человек, сочинявший стихи и поэмы, драмы и прозу, изучавший историю мира, прозревавший грядущее, чуживший там, вдали, вселенский язык, математик великий, мечтатель и создатель «Досок судьбы», одинокий, несчастный, бездомный, вечный странник по землям южным и восточным, звездный скиталец, птиц знаток, собеседник зорь и растений, тихий, усталый и больной Велимир Хлебников. Вхутемасовские студенты, художники-авангардисты, приносили порою в дар молчаливому русскому гению скудную пищу тогдашнюю, понемногу, что Бог послал. Некоторые из них иногда его рисовали. От общения с молодежью Хлебников оживал. Потом он исчез — навсегда. Остались — его творения. Еще раз он — для всех — звезда. Миру всему — в дарение.

В обжитой московской квартире, сплошь, вплотную, одна к другой, но зато и с любовью, завешенной работами Фалька, с которым общался в пятидесятых мой друг Толя Зверев, художник, о котором Фальк говорил, что подобные рисовальщики рождаются раз в столетие, читал я людям, пришедшим послушать меня, стихи.

Помогла здесь устроить мой вечер замечательная подруга, и моя, и друзей моих, по богемной нашей среде, в годы прежние, сложные, Лорик, так ее называли все мы,

по привычке, Лариса Пятницкая, чья отзывчивость — беспримерна, доброта — всегда велика, понимание жизни, искусства и поэзии — уникально, человечность — светла и чиста.

Я читал — в кругу современников образованных, умных, серьезных, тех, кому слово дорого русское и поэзия дорога.

Вечер длился — и снег за окнами шел все гуще — и с белыми хлопьями совладать не могла темнота, — и невидимая черта пролегла меж семидесятыми и началом восьмидесятых, там, вдали, — и в душах крылатых зазвенела чуткой струной, чтоб остаться навек со мной.

Вечер зимний — из давних лет.

Что за музыка в нем звучала?

В нем — грядущих речей начало.

Ну а с ним — и звучащий свет.

Алена Галич сама подошла ко мне — познакомиться.

Мы с нею разговорились.

И вдруг я увидел в ней такую же светлую внутреннюю силу, какая была и в отце ее и жила в нем всегда, пробиваясь упрямо ввысь, к небу и звездам, сквозь боль.

Приезжала позже Алена в нашу с Людмилой прежнюю, скромную, однокомнатную квартиру в Новогиреево.

Алена многое сделала для того, чтобы тексты Галича, разбросанные по разным собраниям, здесь, на родине, были опубликованы, как о том и мечтал сам поэт.

Вечер зимний. Снега повсюду.

Свеч мерцанье. Преданий гряда.

И сквозь вьюгу — живое чудо.

Свет звучащий. И — голос вслед...

...Зимой, в декабре, морозном, с ледяными ветрами, семьдесят седьмого, Змеино-го, года, измученный предыдущими скитаниями своими и новых скитаний ждущий в грядущем году, я, стараясь держаться, еще бездомничал.

Приютит меня, только временно, разумеется, ненадолго, мой знакомый, из новых, более молодых, не из нашей компании, но зато для меня интересный, славный парень, Сережа Берков, остро слов, развеселый гуляка, выпивоха, рассказчик всяческих удивительных, с парадоксами современными, фантастических, для меня, например, историй, с которым я познакомился прошлым летом, в Крыму, в Коктебеле, где он, в окружении пестрой, хиппующей, загорелой толпы восторженных слушателей, хрипловатым голосом пел под гитару то песни бардов, то цыганщину, то романсы, то рок-оперу «Иисус Христос — суперзвезда», в зависимости от выпитого перед этим, порой в изобилии, да таком, что запоем попахивало или долгою пьянкой, местного, в основном, сухого вина или напитков покрепче, а также от настроения и состояния духа, но всегда с неизменным успехом. Был я ему благодарен за участие, за ночлег.

Средств столь нужных к существованию у меня и в помине не было.

Своего жилья — да угла, и тому был бы рад я — не было.

Рукописи, оставленные на хранение в доме случайном, далеко не сразу, с трудом, но вернулись все же ко мне.

На полу стояла тяжелая сумка, плотно набитая ими.

За окном стояла холодная, для меня чужая, столичная, с одиночеством, с грустью, привычная, хоть страшная все же зима.

На широком пустом подоконнике лежал, словно знак или символ тревожный, неведомо кем оставленный для кого-то, огромный, с детский кулак величиною, жаркий,

как пламя, густо-оранжевый, отливающий вроде бы алым, отсвечивающий багряным, нет, скорее — багрово-красным, коктейльный, из бухт карадагских, вулканической прорвю пышущий меж снегов декабря, сердолик — и сам собою светился на фоне вначале серого, потом синевато-белесого, а потом, ближе к вечеру, въедливого, чернильного, сине-лилового, ну а к полночи — темного, черного, замерзающего, оконного, в ледяных наростах, стекла, почему-то напоминая о какой-то невероятной, неизбежной грядущей жертве.

Я включал иногда приемник — и в бездонном ночном эфире находил сквозь глушилки пробившиеся к нам, в Империю нашу режимную, с новостями последними, западные, всем известные, «голоса».

И в мое обиталище временное, словно жгучий разряд электрический, ворвалась ужасная весть из Парижа — о гибели Галича.

И — голос его, вопрошающий всех нас:

— А когда я вернусь?..)

Мы опять остались, в беседке домотворческой, с Ворошиловым, в окружение листвы зеленой с комариным гулом, вдвоем.

Но вскоре, видимо, выспавшись, отдохнув, помаленьку, стали к нам, в беседку, один за другим, наведываться и киношники.

Причем интересы их распространялись, как сразу же, в считанные секунды, здесь же, на месте, выяснилось, не только на ворошиловские оставшиеся работы.

Они — удержаться от этого трудно им было, наверное, — посягали еще и на наше оставшееся вино.

— Где Галич? — спросил Ворошилов очередного приятеля, забежавшего к нам, чтобы тоже приложиться скорее к стакану. — Он обещал вернуться, обещал помочь мне с картинками!

Приятель махнул рукой:

— Отлеживается, закрывшись у себя. Томится. Страдает. Тяжело ему. Пусть отдыхает.

— Ну, коли так, то ладно, — пробормотал Ворошилов.

А киношники всяких рангов, те, с которыми не успели мы повидаться после обеда, отдохнувшие, — любопытствуя, уже звали к себе нас, желая поглядеть, в обстановке спокойной, санаторной, отчасти творческой, ворошиловские работы,

Режиссер Юткевич, прозрачный, как пергамент, призрачно-бледный, элегантный, с манерами барина, удобно сидящий в кресле, в окружении интеллигентных дам различного возраста, преданно, раболепно даже, глядящих на своего повелителя и кумира, каждому слову короля своего внимающих, человек, по всему виду, избалованный, и давно, таким вот, повышенным, пристальным, страстным вниманием к мэтру, перебирая холеными, длинными, узкими пальцами ворошиловские рисунки, то поближе к ним наклонялся, чтобы цепко взглянуть в каждый на листе светящийся образ, то, пожав плечами, прикрытыми заграничным фирменным джемпером, словно флагом страны таинственной, той, в которой был он властителем, — от простуды, на всякий случай, — вдруг откидывался назад — и тогда, со значением, так, чтобы все вокруг его слышали, но негромко, спокойно, томно, с бархатистой ноткой, тоном знатока записного, матерого, всех на свете искусств, говорил:

— Да, работы хорошие. Нечто в этом роде я видел в Париже. Только эти — вот он, талант настоящий, — оригинальнее!

И, раскинув узкие кисти утомленного славы артиста, словно крылья, в знак одобрения своего, — ничего не купил.

Покупали — киношники рангом поскромнее, люди попроще.

Ворошилову надоела затянувшаяся торговля.

И он, взяв папку с рисунками, как сеятель во поле русском широком — лукошко с зерном, принялся раздаривать их всем, кто под руку подвернулся, и налево — берите, дарю, мол, и направо — держите, мол, вам, все берите, все забирайте, разбирайте все по частям, вот вам всем — работы, на память.

За бесплатно — все брали охотно.

По всей территории болшевского подмосковного Дома творчества, сквозь листву зеленую, свежую, сквозь людское густое роение, прорываясь к летним, просторным, как шатер для всех пожелавших приобщиться к искусству сегодня настоящему небесам, белели в руках киношников Игоревы работы.

Получилась, как и всегда, по наитью, сама собою, — да и к лучшему ведь, наверное, что сейчас она получилась, — персональная выставка Игорева, — и не где-нибудь в галерее городской, а здесь, на природе.

На пленэре — так ведь сказали бы о подобном явлении французы, там сказали, в том же Париже, где бывал режиссер Юткевич, ну а мы-то с Игорем сроду не бывали и даже об этом здесь, в Империи проживая, как уж выйдет, не помышляли.

Посему — пусть лучше по-русски, по-простому, по-нашему: выставка — на природе, явление чуда, просто так, от щедрот его.

Комары, нежданно утроившие активность свою зловредную, вконец, обнаглев окончательно, просто заели нас.

Вечерело. Солнце давно ушло на запад — и, видимо, собиралось и вовсе скрыться с глаз людских, — на время, конечно.

Киношники, ошастливленные, все разом, сжимая в руках дареные, всем доставшиеся, ворошиловские рисунки, постепенно, неудержимо, разбрелись уже кто куда.

Пустую папку, в которой еще недавно лежала целая россыпь сокровищ, Игорь, внезапно почувствовав непривычную легкость ее, прижимал к себе острым локтем.

Нос его запорожский выдался — сквозь пространство и время — вперед.

Глаза его — тихо, задумчиво — светились подспудным огнем.

Он сутулился — больше обычного.

Он молчал — и смотрел на закат.

Мы стояли вдвоем — посреди совершенно пустого двора.

Никого вокруг нас больше не было.

Пора было нам, пожалуй, уходить отсюда, пора.

Уже у самых ворот услышали мы исходящий откуда-то сзади, слабый, едва различимый оклик.

Оглянулись мы оба — на голос.

Голос — рвался издали к нам.

Или — к выси, что с тьмой боролась.

Или — к новым песням и снам.

Просветлевший слегка, но все же, пуще прежнего, грустный Галич к нам тянул огорченно ладони: мол, куда же вы, братцы, куда?

Ворошилов знак ему подал крепко сцепленными руками: все, мол, будет в порядке с тобою, не сдавайся, воспрянь, старина!..

И мы, покинув киношный Дом творчества, потащились к электричке, навстречу новым — сколько будет их? — приключениям.

Некоторая их часть началась, для нас, еще в Болшеве.

Мы с ужасом вдруг обнаружили, что вина у нас больше нет.

Деньги — есть. А выпивки — нет.

Но кошмар настоящий — тот факт непреложный, что до закрытия магазина пристанционного остается, всего-то навсего, ровно четыре минуты.

Эти вечные, ворошиловские, непростые, четыре минуты — как с его недавним нырянием в Сокольническом пруду.

Опять — четыре минуты. Ну, разве что с крохотным хвостиком.

И мы с Ворошиловым ринулись — вперед, скорей! — к магазину.

Напрямик, наугад, напролом.

Только бы нам успеть!

Только бы не остаться в незнакомых краях ни с чем!

И мы неистово мчались, наобум, по чутью, вперед, не разбирая дороги.

Мы по-птичьи легко перемахивали через все порой возникающие на пути нашем верном заборы.

Мы срезали все, вероятные и реальные, оптом, углы.

Мы развили такую скорость, что побили наверняка все рекорды — трудно сказать, на какую конкретно дистанцию, — но был это дивный Бег, с большой, а не с маленькой буквы.

И мы в магазин — успели.

За четыре секунды ровно — вот ведь как! — до его закрытия.

Уже продавщица усталая, с ключом и замком в руках, направлялась к двери входной, собираясь ее закрывать, уже хотела она гасить, как положено, свет, когда ворвались мы с разгону в тесное помещение продмага пристанционного — и потрясли ее до глубины души взмыленным видом своим, да и тем еще, что Ворошилов на бегу протягивал ей стопку рублей измятых, и была во всем его облике такая просьба глубокая — подожди, родимая, миленькая, дорогая, не закрывай! — и такое было в глаза его исступленное, не иначе, и отчаянное желание — эх, успеть бы купить вина! — что усталая продавщица за прилавок вернулась безропотно — и безмолвно, с явным чувством к нам, свалившимся словно с луны, к ней, сюда, успевшим явиться до закрытия магазина, с нескрываемым изумлением, только молча, слегка, покачивая то и дело, то влево, то вправо, закутанной пестрой косынкой седеющей головой, улыбаясь задумчиво, нам, незнакомцам таинственным, выдала вожделенные эти бутылки отвратительного портвейна, ровно столько, такое количество, на которое денег хватило, и до двери нас проводила, и потом уже только, дверь на замок закрывая привычно, с одобрением, с укоризною и с приятною искренней, вымолвила:

— Ну и герои! Надо же! Глазам своим нынче не верю. Бывают орлы такие — в наши-то времена!..

И мы со своей добычей дождались на темном, безлюдном перроне своей электрички, и долго, но все-таки ехали в Москву, и пили вино, и смотрели, к походам привычные, в отражавшие наши лица ночные вагонные стекла, и говорили — о чем?

Господи, да о чем говорить в дороге могли два друга, живущих искусством!

Все о том же — о том, святом, изумительном, непростом, долгожданном, желанном, возможном, упоительном и тревожном, покоряющем все стихии, исцеляющем души людские.

(Потом, через годы, сквозь время пройдя, вспоминали мы с Игорем Галича.

...Он вышел, сутулясь, глаза опустив, прошел меж березой и елью, усталые, жесткие руки скрестив, и выдохнул горько: «Похмелье!» Над Болшевым сизая дыбилась высь, киношники жались поодаль. И друг мой привычно сказал: «Похмелись, стряхни с себя тяжесть и одурь». Он выпил бутылку, один, в три глотка, занюхал горбушкой сухою, — и глянул вокруг, и промолвил: «Тоска! Не жду его больше, покоя. Что ж дальше?..» А дальше — изгнание, и боль, и песен рыданье глухое, и все, что означено словом — юдоль, и гибель, и время лихое. И голос, о стольком для нас говоря, сквозь небыль Парижа плеснулся: «На родину, братцы! Пусть хоть в лагеря, но только б домой!..» Он вернулся. И друг мой, когда вспоминали мы дни, сулившие бед возрастанье, сказал: «А лицо его было — в тени, но было над тенью — сиянье».

Или, может быть, так.
Облака.

День ли прожит, и осень близка, или гаснут небесные дали, но тревожат меня облака — вы таких облаков не видали. Ветер с юга едва ощутим — и, отпущены кем-то бродяжить, ждут и смотрят: не мы ль защитим, приютить их сумев и уважить. Нет ни сил, чтобы их удержать, ни надежды, что снова увидишь, потому и легко провожать — отрешенья ничем не обидишь. Вот, испарины легче на лбу, проплывают они чередою — не лежать им, воздушным, в гробу, не склоняться, как нам, над водою. Не вместить в похоронном челне все роскошество их очертаний — надышаться бы ими вполне, а потом не искать испытаний. Но трагичней, чем призрачный вес облаков, не затмивших сознанья, эта мнимая бедность небес, поразивших красотой мирозданья.)

И вот Ворошилов, мыкавшийся по знакомым, вдруг снял себе комнату.

Снял — за гроши буквально. Можно сказать, что — даром. Или же поточнее скажем — почти что даром.

Он вселился туда со всеми причиндалами: торбой с красками и кистями, бумагой, картонками, перевязанными шпагатом, одежкой кое-какой небогатой и стопкой книг.

И решил зажить независимой, по возможности вольной, жизнью.

Удалось ему, чудом, возможно, после долгих мытарств, продать иностранцам каким-то, которых притащили к нему, с трудом отыскав его где-то, знакомые, некоторые работы, живопись, давние темперы, и графику, свежие серии.

Покупатели — были довольны:

— Превосходные вещи!

— Недорого!

— Замечательно!

— Великолепно!

И — покупки скорей упаковывать.

И — бутылку виски на стол:

— Это — вам. Угощайтесь! Презент.

Ворошилов — отведал виски.

— Градус есть. Приличный напиток!

И — добавил. И вновь — добавил.

И — расчувствовался. Размяк.

Пробудилась в нем — доброта.

Захотелось ему — приятное иностранным сделать гостям.

Грудю новых темпер достал он — и широким жестом творца показал на них:

— Выбирайте! Что понравится — то подарю.

— О! — воскликнули иностранцы.

И давай поскорей — выбирать.

— Это.

— Это.

— Вот это.

— И это.

— И вот это еще.

— И еще... О, какая работа!.. Это.

Ворошилов сказал:

— Все — дарю!

Изумились тогда иностранцы широте благородной души ворошиловской. Пошушукались. И — вторую бутылку виски из портфеля на стол:

— Презент!

Ворошилов открыл бутылку.

Приложился к ней. Раз, другой.

А потом, после паузы, третий.

Полбутылки — как не бывало.

Закурил свой «Север» привычный.

Бухнул грудю рисунков на стол.

Показал на них:

— Выбирайте! Что понравится — подарю.

— О! — воскликнули иностранцы.

Принялись выбирать — рисунки.

— Это.

— Это.

— Вот это.

— И это.

— И вот это еще.

— И еще...О, какая сангина!.. Это.

Ворошилов сказал:

— Дарю!

Иностранцы — переглянулись. И — бутылку виски на стол. Третью. Бог ведь Троицу любит.

И сказали они Ворошилову:

— Извините, но больше — нет!

Посмотрел на них Ворошилов. Пить — не стал. Взял пачку рисунков. Протянул иностранцам:

— Дарю!

Иностранцы были растеряны. Даже больше — потрясены.

Уж чего-чего, но такого видеть сроду им не приходилось.

Головами все закачали. Загудели, залепетали:

— О, спасибо!

— Спасибо!

— Спасибо!
Ворошилов сказал:
— Да бросьте! Все о, кей, как у вас говорят.
Принялись иностранцы покупки и дары упаковывать Игоревы.
Ворошилов помог им. Сказал:
— Там, в своих заграничных странах, окантуйте работы. Все. Пусть висят у вас. Есть не просят. Вспоминайте меня иногда.
Иностранцы сказали:
— Конечно!
Иностранцы сказали:
— Повесим!
Иностранцы сказали:
— Вспомним!
Ворошилов сказал:
— Надеюсь!
И — опять приложился к бутылке.
Иностранцы сказали:
— О!
Ворошилов сказал:
— Годится!
Иностранцы сказали:
— Много!
Ворошилов ответил:
— Нормально.
Иностранцы сказали:
— Крепкое!
Ворошилов ответил:
— Сойдет.
Собрались уходить иностранцы.
— До свидания!
— До свидания!
— До свидания, добрый русский богатырь! Спасибо! Гуд бай!
Ворошилов — их проводил.
— Приходите еще. Буду рад.
Ворошиловские знакомые, наблюдавшие процедуру иностранных приобретений и даров ответных, сказали напоследок художнику щедрому, провожать уходя привезенных покупателей:
— Ты чего?
Выразительно покрутили у висков своих пальцами:
— Спятил?
И добавили:
— Ну, ты даешь!..
Ворошилов от них отмахнулся, как от мух:
— Ничего! Прорастет!..
Все ушли. Захлопнулась дверь.
Ворошилов — на деньги взглянул заработанные:
— Жить можно!
И — опять приложился к бутылке, сделав только один глоток.
Остальное — оставил на утро.

Заварил себе чаю покрепче. Подождал, пока настоится. Власть напился. Вот это вещь! Не чета какому-то виски.

Взял бумагу, мелки цветные. Помаленьку стал рисовать.

Впереди были — вечер и ночь.

До утра — было времени много.

Все сомненья и страхи — прочь.

Мир — велик. Жизнь прекрасна, ей-богу!

Надоело уже — кочевать.

Надо — комнату где-нибудь снять.

Надо — снова работать. Надо.

Труд — спасенье. Выход из ада.

И — нашлась наконец-то комната. В коммуналке. И то хорошо. И на том спасибо судьбе. Да и сдавшим ее хозяевам.

Было это — везением. Явным. Несомненным. Но и заслуженным. Вот и с комнатой — повезло, безусловно. Хвала везению!

Вообще, коль на то пошло, если вдуматься, было похоже, что пора испытаний всяческих и весьма тяжелых периодов остается уже позади, там, в былом, — и теперь начинается в невеселой его, сумбурной и действительно сложной жизни наконец полоса везения.

В принципе, это, как водится, следовало бы отметить.

Все тогда отмечать полагалось.

И тем более — очевидное, вот смотрите, судите сами, каково оно нынче, — наличие, для художника, для творца, для скитальца, в недавнем прошлом, а теперь — человека с комнатой, пусть и снятой, на время, пусть, но зато ведь в Москве, не где-нибудь, это важно всегда, — везения.

И Ворошилов надумал устроить в снятой им комнате и хорошенько отпраздновать желанное новоселье.

К делу он подошел обстоятельно, со всей возможной серьезностью, с той, врожденной, видать, добросовестностью, которая в нем проявлялась, не всегда, иногда, но все-таки проявлялась — и отдавала всегда, обычно, имеющей негаданное продолжение, последствия, да такие, какие вообразить невозможно было заранее, и очень уж бурное, прямо-таки стремительное развитие, этакое сплошное, непрерывное ускорение, движение по нарастающей, — хозяйственностью, такой, как он ее понимал.

Дело было действительно важным.

Закупал Ворошилов — провизию.

Закупал художник — питье.

Он, имеющий опыт немалый, опыт жизненный, кочевой, многолетний, суровый, божемный, не поспешил на выпивку.

И если уж приобретал водку, то набирал и целую батарею «Жигулевского» в основном, но отчасти и «Рижского» пива, и некоторое количество минеральной воды, боржоми, нарзан и эссентуки, и даже, на всякий случай, пригодится небось, лимонад.

Купил он портвейна, много, белого, красного, розового, купил сухого, дешевого, по девяносто семь копеек бутылка, белого, на вкус довольно приятного, легонького вина.

И все это сам он тащил, кряхтя, в жилье свое новое, в нескольких, разумеется, авоськах, в один прием, чтоб не метаться с покупками по новой. И — дотащил.

Потом — покупал он еду.

Начал с того, что купил сразу десять — впрок, чтоб запас был еды, — килограммов картошки.

Взял, подкинув их на ладони, чтобы вес ощутить и плотность овощную, два кочана, свежей, светло-зеленой капусты.

Взял вдобавок два килограмма — пригодится — капусты квашеной.

Купил огурцов соленых.

Купил один килограмм лука репчатого, в шелухе сизовато-коричневатой.

Купил килограмм оранжевой, в кудряшках зеленых, моркови.

Купил макароны, крупные, как патроны, купил вермишель, меленькую, рассыпчатую.

Купил черный перец и лист лавровый — для приготовления сытных и вкусных супов.

Поразмыслив, купил в мясном отделе свиные ножки с копытцами — для холодца, им любимого с детства, для студня, как он его называл.

Купил две банки студенческой еды — баклажанной икры.

Купил майонеза баночку.

Потом — измятый, слежавшийся пучок зеленого лука.

Вслед за луком — пучок петрушки.

Потом — две банки зеленого, крепкого с виду, горошка.

За горошком — две банки хрена.

И потом — две банки горчицы.

Купил килограмм колбасы «Чайной» и килограмм ливерной колбасы.

Купил сразу три килограмма дешевой мороженой рыбы — и, когда эта рыба оттаяла, засолил ее тут же, причем делал он это умеючи.

Купил он грудку селедки — ее он любил, и ел помногу, и называл уважительно — лабарданом.

Хлеба купил побольше — черного «Бородинского», черного круглого, черного кирпичиком, несколько белых, по двадцать копеек, батончиков.

Купил он четыре пачки индийского, со слонем на желтеньком фоне, чаю, — подвезло, случайно увидел и немедленно приобрел, правда, с нагрузкой, в виде четырех подозрительных банок маринованной свеклы, но, впрочем, и она для еды сойдет.

Купил килограмм соли.

Купил килограмм сахара.

Столько всего накупил, что запросто можно было пир для друзей закатить.

И всю эту гору провизии следовало на пиру всенепременно съесть — так задумывалось изначально, так планировалось, ну а замыслы вместе с планами, столь масштабными, надо было в жизнь воплощать.

Ворошилов убрался в комнате.

Он вымыть не поленился затоптанный, грязный пол.

Он влажной тряпкой протер стол, стулья и подоконник, все в комнате находящиеся предметы хозяйской, скудной, обстановки — благо таких здесь было наперечет.

Он даже оконные стекла протер — так светлее, праздничнее.

Он варил картошку, разделявал селедку, лук нарезал, готовил на кухне суп.

Он расставлял на столе, по возможности — покрасивее, тарелки, чайные блюда, раскладывал аккуратно ложки, вилки, ножи.

Он украсил стол пирамидами разнообразных бутылок.

Для каждого им ожидаемого на новоселье гостя он поставил отдельный, вымытый добросовестно, чистый стакан.

Гостей назвал он немало. Даже, может быть, многовато. Пригласил он всех, до кого удалось ему дозвониться.

Он волновался — так хотелось ему перед ними выглядеть хлебосольным, щедрым, добрейшим хозяином.

Он побрился. Надел заранее выстиранную и выглаженную, чистую, тесноватую, светленькую рубашку.

Поглядывая на себя, изредка, бегло, в зеркало, висящее на стене, он одобрительно кричал: ишь ты, а все-таки он парень еще хоть куда!

Близилось время визита целой орды гостей.

Игорь успел приготовить.

Оставалось еще немножко потерпеть, чуть-чуть подождать.

Он сидел в тишине за столом, не притрагиваясь к спиртному, — успеется, наверстаем, все ведь еще впереди.

Он просто курил — и ждал.

В назначенный час раздался с площадки лестничной громкий, долгожданный, долгий звонок.

Ну, вот оно, вот! Начинается!

Идут. Что ж, вперед! Пора!

Ворошилов ринулся к двери входной, широко распахнул ее — и, сделав широкий, плавный, торжественный жест рукою, с подобающим случаю пафосом в голосе, возвестил:

— Дорогие гости, входите!

В коридор коммунальный, громко, так, что пол прогибался, топя сапогами казенными крепкими, деловито, целенаправленно, с быстротою, непостижимой для советских граждан простых, не вошел, а вихрем ворвался жутковатым — наряд милиции.

— Стой!

— Ты кто?

— Документы!

— Взять его!

— Разберемся! У нас — разберемся!

Ворошилова, потрясенного милицейским диким вторжением в мир, которого жаждал он, в эту комнату, где мечтал он, погуляв с друзьями вначале, новоселье отметив с ними, здесь, в покое, сосредоточиться и работать все время, — схватили, как преступника, — и увезли, в неизвестность куда-то, в чем был, в тесноватой чистой рубашке и в домашних разношенных тапочках.

Оказалось, что комната, снятая незадолго и надолго, у ментов была на учете, что хозяйева, люди темные, что-то вроде бы натворили и куда-то быстро исчезли.

Чем запретным они занимались, в чем конкретно они провинились, что за люди были такие — совершенно сейчас не помню.

Был куда страшней и существенней тот нелепейший факт, что именно из-за них, ни за что ни про что, пострадал мой хороший друг.

В милиции на Ворошилова — навешали чье-то дело.

Так случалось в прежние годы.

Легче легкого для милицейских, при чинах, при погонах, властей было в чем-нибудь очень серьезном обвинить ни в чем не повинного, да еще и к тому же творческого, незащищенного человека.

Опять-таки и разыскивать действительного преступника, поскольку был заместитель найден ему, не требовалось.

Галочку там, у себя, в канцелярских своих бумагах, поставили — вот и все.

Видимость проведенной с успехом, большой работы.

Привычка типично советская — в типично советской, с подменой одного другим, ситуации.

Имитация. Подтасовка.

В случае с Ворошиловым это произошло потому еще, что художник, не удержавшись, высказал провязавшим его ментам все, что о них он думал, все, что считал для себя необходимым сказать.

Их реакция на слова, прозвучавшие, как набат или гром среди ясного неба, оказалась незамедлительной.

В русле мраком покрытой, подлинной, — а не липовой, показной, для отчетов, для планов, — жизни учреждения, в нашем народе, понимавшем все, нелюбимого, учреждения — порождения всей советской тогдашней системы.

И менты — случай выдался — просто отыгрались на Ворошилове.

Ага, мол, художник? Ишь ты, поди ж ты! Абстракционист? Или кто там? Нигде не работаешь. Тунеядец, значит? Бродяга?

Так ты еще и возникаешь?

Ну, тогда получай сполна!

Его из ментовки отправили прямо в тюрьму. В Бутырки.

Распрекрасное выбрали место для воздействия — в лоб — на психику — что там чикаться с ним, церемониться? — задавить! — и на душу художника.

Традиции — были. И — навыки. И — методы. Вон их сколько!

Такое местечко, где хочешь не хочешь, а призадуматься о справедливости в жизни.

Особенно в той, что во мгле затянувшегося бесчестья проходила в нашем отечестве.

За что? — вопрос этот глохнул в пространстве тюремной камеры.

Вины отсутствие полное — доказывать было некому.

Ворошилов, однако, упорствовал.

Его козорожье упрямство взыграло с невиданной силой и сказалось по-новому в этой трагической ситуации.

Пробудилась в нем воля — и крепость необычную обрела.

Ни за что не сдаваться! Держаться!

Справедливости добиваться!

Должна ведь быть в мире, сложном, жестоком порой, справедливость!

Он твердо стоял на своем.

Неужели его мучителям непонятно, что он ни в чем совершенно не виноват?

Пребывание в тюрьме — его, ворошиловское, — ошибка.

Неразумное что-то. Бессмысленное.

Бред, и только. Нонсенс. Абсурд.

Уж чего только не довелось навидаться ему, человеку горемычному, но тюрьма — это ясно как Божий день, всем на свете должно быть, — не место для художника. Неужели не желает никто понять, что художнику здесь нельзя находиться категорически?

Почему он должен сейчас отвечать — неизвестно за что, за кого? Почему он вынужден — за кого-то, вместо кого-то, виноватого в чем-то, — страдать?

Наваждение, да и только.

Все, что нынче с ним происходит, иначе и не назовешь.

Прирожденный воитель, он не хотел быть безвинной жертвой, не желал становиться безвольной, бессловесной, покорной игрушкой в чьих-то грязных руках, восставал против лжи, противился всячески тому, чтобы так вот, по чьим-то указаниям, или приказам, или прихоти, или блажи, или мести, или зловредности, по случайности, по нелепости, по причине идиотического, в корне, прежде всего, по сути, вот куда посмотрите, стечения разных жизненных обстоятельств быть разменной картой в каких-то изощренных, иезуитских, политических, может быть, играх милицейских московских властей.

Тогда его из тюрьмы отправили на принудительное лечение — в нехорошую, как Булгаков сказал бы, психушку, похуже тюрьмы, в Столбовую.

Кошмарное было — в годы минувшие — заведение.

Известность была у него широкая и дурная — такая, что, при одном только упоминании о нем, бывалые люди, кое в чем хорошо разбиравшиеся, кое-что получше других понимавшие, тут же вздрагивали, замолкали и напрягались.

Там попытался Игорь по-хорошему, по-человечески, по-честному объясниться, с глазу на глаз, с главным врачом.

Ведь это вполне нормально и даже очень ведь правильно — взять да и поговорить с человеком, дававшим клятву Гиппократата, серьезным, толковым, напрямую, начистоту, откровенно, как на духу, ничего от него не скрывая, искренне, доверительно, в надежде на человеческое и врачебное понимание.

Тот, как это ни странно, вдруг снизошел до художника.

Почему? Да кто его знает!

Может быть, проявилось в нем обычное любопытство.

А может, имели место интересы профессиональные.

После того как Игорь рассказал ему о нелепой истории, произошедшей с ним и приведшей его по чьему-то распоряжению, таинственному, покрытому пеленою туманных домыслов и догадок, сюда, в психушку, а потом откровенно поведал, вкратце, о жизни своей и непростой судьбе, ну а потом, незаметно увлекшись, подробно, доходчиво, хотя, как всегда, с основой философской и метафизической, с привлечением, для наглядности, цитат из Святого Писания, из Корана, из мифологии, из Гёте, из Бёме, из Эххарда, из Хлебникова, рассказал о своем понимании живописи и тут же ему прочитал интересную и поучительную лекцию о Ван Гоге, — «лечение» принудительное сразу же, в тот же день, после беседы, усилили.

После второй, вдохновенной, разумеется, и обстоятельной, лекции о Сезанне, прочитанной, неожиданно для самого себя, Ворошиловым, почему-то, — в полном составе появившемся перед ним, навестившему вдруг его как-то утром, — по чьей команде и с какою целью — неясно, заинтересовавшемуся его, ворошиловской, творческой, художнической, не такой, как у членов МОСХа, не очень-то доступной для понимания, вовсе не реалистической, формалистской какой-то, сложной, деятельностью, с ко-

торой разобраться бы надо как следует, и его сокровенными, личными пристрастиями в искусстве, — коварному, как оказалось, но все-таки пораженному эрудицией небывалой и редкостным красноречием пациента, выдавшему виды, но с подобным случаем сроду не встречавшемуся, озадаченному, — тем не менее выполнявшему исправно свою работу, разрушительную, жестокую, медицинскому персоналу, — после некоторой заминки, после кратких переговоров меж собою, за дверью, надежно закрытой для посторонних, словно поспешно слишком наверстывая упущенное, да и так, для порядка больничного, а вернее, чтобы скорее проучить и вконец запугать вот этого, странноватого, если мягко сказать, художника, ему назначили, кажется, тридцать, пусть, мол, помучится, может и станет попроще потом, инсулиновых шоков.

Словом, чем дальше, тем хлеще.

«Лечение» шло — исправно, регулярно, по нарастающей.

С компонентами всеми возможными процесса этого долгого — жестокостью, издевательством, откровенным садизмом — и прочими, помельче и покрупнее — и не было им числа.

Испытывали на нем непонятные препараты, от которых, раньше ли, позже ли, ежели не загнуться, то свихнуться уж точно можно было всем подопытным людям.

У советской психиатрии средств подобных было с избытком.

Почему же их лишний раз не опробовать на отдельном, да таком еще, как Ворошилов, то есть мыслящем, человеке?

Вот и пользовались удобным, подходящим для этого случаем.

Вот, войдя, вероятно, в роль или в раж войдя, и старались.

Человек-то был — беззащитным.

Был — беспомощным. В их руках.

Выбивали здесь из него — всеми способами, какие подходили более-менее и какие годились, так, на авось, на глазок, «художническую дурь». Но что скрывалось тогда под этим определением, что конкретно имелось в виду, спрашивать было не у кого.

Непохожесть, всегдашняя, давняя, ворошиловская, на других, сама по себе уже должна была раздражать и ставить в тупик врачей.

А тут еще и спихнули-то его, им в руки, — мол, вот вам экземпляр, поработайте с ним хорошенько, вы это умеете, — не какие-нибудь московские, при погонах, шестерки, пешки, а милицейские власти.

Значит, был у них, у властей милицейских, для этого повод.

Значит, были причины для этого.

Так зачем же тогда теряться?

Вот он, подопытный кролик.

Ну и, следует помнить, конечно, что сказано было сверху: помучить его как следует здесь, да так, чтоб со временем он и родных своих не узнал.

Посему — за работу, товарищи!

Что с ним только ни вытворяли, как над ним только ни издевались!

Доселе понять невозможно, как Игорь все это выдержал.

Продержали его в психушке — полтора долгих, горьких года.

Вы вдумайтесь в эту цифру.

Полтора бесконечных года настоящих пыток, жестоких издевательств, сплошных истязаний.

Полтора беспредельных года ни на час, ни на миг, хотя бы, днем ли, ночью ли, не прекращающегося, нескончаемого кошмара.

Полтора безнадежных года постоянного, на измор человека берущего, ада.

И если бы не богатырский ворошиловский организм, то вышел бы из психушки великий русский художник законченным инвалидом.

Если бы вообще в таких условиях — выжил.

Из писем. На смятых листках, в основном — из тетрадок школьных, или вырванных из блокнотов, торопливо и густо исписанных ворошиловским крупным почерком, разрозненных, сложенных четверо, чтобы спрятать их и потом передать украдкой, при случае, навестившим его друзьям, — чтобы те поскорей их отправили, из Москвы, далеко, на Урал, драгоценной, любимой Мире.

Из неволи. Из заточения в аду подмосковном. Игорь Ворошилов — Мире Папковой.

— Милая! Что с тобой случилось? Я написал уже три письма, от тебя же никаких вестей. Отзовись. Я на инсулине. Неволя доконала меня. Теперь я понимаю зверей, которые в неволе не размножаются. Я — из их породы. Жизнь здесь проходит скучно и безобразно — но ничего не поделаешь — хотя временами и не могу сдерживать своего бешенства. А это мне вредит.

— С утра просмотрел я пустые сны и коловращенье миров в калейдоскопе Вселенной, о движении Духа в самом центре ядра атома; о распаде Бога, который неожиданно перестал быть единственным, о сумасшедших домах, в которых я еще не бывал. но обязательно побываю — не в этом времени, так в другом; о предательстве любимых, желания которых менялись молниеносно — и горько мне было и страшно в этом инсулиновом бреду: пустые сны, пустое сердце, пустая жизнь — и никакой надежды.

72 — 26-1.

— Голубушка моя, от тебя ни слова, ни проклятий. Боюсь говорить — неужели в болезнь ввергнутая? Столько врагов, столько сук! О, не дай тебе Боже заболеть. Милая, я умру. Я всегда притворялся. Я люблю тебя безумно. И больше чем ты — меня. Я это знаю, но я скрывал, потому что ты глупа, а я боюсь твоей глупости. Ты баба, тебе позволено мучать. Как ты меня мучала. Я все прощаю. Я говорю — люблю. Я говорю — Мирочка, милая моя деточка, выздоравливай, похорони меня — тогда все будет в порядке. Не затоскуй, когда это будет. Все — можно найти. Только — не меня.

— Как отдаленный гул весенней ночи, когда рассвет чуть брезжит, а свиданье еще в зените страстного моленья, горячих поцелуев и упреков, и горьких слез и жалобного счастья, — я, воспаленный, в гневе ожиданья прозрений неожиданных, пророчеств, брожу по темной комнате, как леший, и грежу наяву — и вижу небо других, неведомых и страшных сказок, где только нарождается мгновенье — и все в чаду тропического жара, в котором млеют души и туманы, и мы в любви смертельной жаждем боли, чтоб через путь и мету слез кровавых познать другое, скрытое, благое, — неуловимое, как суть миров высоких, которым мы в болезни отвечаем горячим словом, воспареньем, светом, не зная ни покоя, ни отрады, ни легких снов, ни призрачного счастья, всегда в пути, в ревнивом напряженьи, всегда в пути — до самой, самой смерти.

— Приглашая вас на танец, что мне делать, Маргарита? Поцелуем ли отметить вашей смуглой шеи выгиб иль ревниво упавая до колен — колонн высоких, овном

радостно заблестеть или горестно заплакать. Нет в душе моей решенья, разум страстно помутился, и уходят в синий вечер грезы странные мои. Может, завтра, может, в полночь встречу вас с веселым мужем, содрогнусь и бедным сердцем запылаю и умру. Но сегодня я не в силах оторвать шального взгляда от лукавейших вопросов ваших влажных быстрых глаз. Страхи — прочь, не зацелую, я ведь рыцарь чистой веры, только плачу и вздыхаю, только мучаюсь во сне.

Почему не пишешь? Здесь ужасная скука. Инсулин ничего не дает, кроме того, что в шоках открываются довольно пугающие потусторонние вещи. Целую тебя нежно, — всю, много-много раз. Игорьь.

6/II — 72.

— Милая! От тебя никаких вестей. Я уж отчаялся дождаться. Что-нибудь опять случилось? Пиши мне почаще. Я здесь задыхаюсь от скуки и тоски. А еще сидеть и сидеть. Все опротивело, видеть никого не могу, угнетенное состояние, депрессия. Очень тяжело. Представь себе вокзал — с его шумом, гамом, переполненностью — вот в таком отделении я живу. Нет минуты, чтобы побыть одному. Оттого-то я смертельно устал. Единственное спасенье — сон. Я буквально спасаюсь сновиденьями. По крайней мере хоть во сне побудешь сам с собой. И за какие только грехи выпал мне этот ад? Соскучился по живописи. О тебе и не говорю. Пиши. Игорьь.

— Мира! Теряюсь в догадках, пытаюсь понять, почему ты молчишь. Как-то не верится, что тому причиной какое-нибудь глупое или горькое событие. Во всяком случае, от тебя нет писем уже 1,5 месяца (!!). За это время можно было бы написать и о несчастье, если оно случилось, и о еще какой-нибудь задержке. Ты не представляешь, как мне здесь тяжело приходится. С прошлогоднего мая я не могу найти ни места, ни времени, чтобы порисовать. А желание было так велико. Сейчас нет ни желания, ни мыслей. Во мне тупо ворочается тоска и какая-то особенная глухая боль. Жаль золотого времени, что уходит безвозвратно, жаль себя за неустойчивость и призрачность будущего, жаль, что все, что наработал, расплылось, разошлось по рукам — и теперь я как сирота или как отец, потерявший в старости опору — своих сыновей, и задыхающийся в одиночестве, да чего только еще не жаль. Того и изобразить невозможно. Времени здесь много, жизнь трезвая — и вот все думаешь и думаешь — и потихоньку седеешь. В таком состоянии каждое слово друга и любимой на вес золота — неужели ты этого не поймешь. Не пиши только лишнего, потому что письма читают — и все. Уж как мне совершенно нечего писать родителям, я, зная, как там тоскует мать — пишу же и нахожу, о чем. Хоть два слова, но уже письмо, уже весть. Обязательно напиши. Я прошу тебя перенести отпуск на август — раньше я вряд ли выйду. Это тебе ничего не стоит, а я в неволе и от меня ничего не зависит. Пиши. Целую крепко. Игорьь.

4/V — 72.

— Милая! Я получил от тебя письмо. Был очень обрадован, но должен снова тебе заметить, что здесь письма читают внимательно. Ради Бога, о моих делах в больнице — ни слова. Все или почти все письма, которые ты от меня получаешь, переданы тайно, минуя врача. Так что не обо всем, что я тебе пишу, можно говорить открыто. Я могу еще раз сказать тебе — хватит мучаться, хватит жить врозь. Это до хорошего не довело. А если будет так продолжаться, то может быть еще хуже. Я не скрою от тебя, что мой срыв — следствие болезненного состояния. Нельзя жить человеку в таком напряжении. Я тебе говорил, когда мы шли в «Большой Урал», что я нахожусь под страшной силы прессом. Ты, однако, не обратила на это внимания — или обратила в том смысле, что такой уж у меня тяжелый характер. Характер характером, а он у меня, как не совсем неправильно заметил Лева Пасеков, отличен тем,

что большей своей частью объясним и зависит от моей внутренней работы, которую я ревниво оберегаю, что дало повод Стесину назвать меня хитрым и скрытным другом, который редко говорит то, о чем думает (не знаю, насколько он прав) — характер, говорю я, характером — но обстоятельства, которыми я был окружен последнее время, были столь зловещими и ненормальными и все это, к несчастью, было так глубоко внутри меня запрятано, что рано или поздно нарыв должен был прорваться. Честно говоря, я за 1,5 месяца предчувствовал надвигающуюся беду, но ничего не мог с собой поделать. Милицionеров я не мог видеть без злобы и содрогания. И постепенно заболел элементарной манией преследования. Когда же пришлось с ними столкнуться — меня прорвало, и я им кое-что сказал, за что и сижу сейчас в больнице. Живи я другой жизнью, я уверен, что этого не произошло бы. Целую тебя нежно. Игорь.

— Милая! Я получил два твоих письма. Слава Богу, что у тебя все в порядке. Конечно, молчание твое в это время — преступление, но я помолчу... У меня 24 мая была комиссия и принудку врачи мне сняли. Сейчас дело уже направлено в суд, который тоже должен снять с меня принудку. К августу я выйду. Я не совсем тебя понял в последнем письме. Ты пишешь, что я должен предупредить тебя письмом о своем приезде в Свердловск. Это по меньшей мере странно. Ты же собиралась в отпуск в Москву — и это было бы удобнее. Я жду разъяснений. Отпуск бери в августе. Я по выходе снял бы в Москве комнату. У меня здесь скопилось много дел — и честно говоря, я так истосковался по живописи, что мне не терпится скорее приняться за нее. В Свердловске я не смогу заниматься ею. Вдобавок же — с места в карьер бродяжить, обивать пороги Аркаши или Валеры для меня сейчас было бы очень тяжело. Я утратил интерес к людям и мечтаю о затворничестве и покое. Нелепые претензии людей меня крепко раздражают. Никто на меня не имеет права, никому я ничего не должен, а между тем меня содержат как скотину совершенно мне посторонние люди, да еще вдобавок всячески ущемляют в правах. Это безнравственно — и в высшей степени абсурдно. Человеческое общество с его порядками мне активно враждебно. Когда начинаешь смотреть на человека со стороны социальной, трудно, как говорил Ницше, скрыть «вздых презрения». В общем, я за Москву. Деньги мне нужны, да потом не исключена возможность, что к половине июля я выйду. Крепко целую. Игорь.

1/VI — 72.

— Милая! Я очень сочувствую тебе за маму. Утешать я не умею, да и сама смерть, размышление о ней — постоянно производят в моей душе опустошение — я бываю временами совершенно раздавлен очевидным абсурдом — тем не менее скажу, что плач о покойной никак не успокаивает ее душу, которая покат носится над землей; наоборот огорчает ее, предает ее мучению. Как бы велика ни была скорбь, надо всегда помнить, что самое худшее у почившей — позади. Я исхожу в этом из своей твердой, детской веры в бессмертие души — и тебе желаю этой же самой веры. Я также твердо уверовал в то, что этот мир — юдоль страданий, что противоречит конечной цели человеческого существования, что в свою очередь говорит в пользу других миров и другого бытия, где нет похищения, нет дисгармонии, нет абсурда. Впрочем, я только рассуждаю — и поэтому прошу простить меня, если что-нибудь не так выразил. Добавлю только, что ты напрасно считаешь себя сволочью за то, что два года ей не писала. Конечно, это не очень хорошо. Но, в конечном счете, важна твоя любовь к ней, а не что-нибудь другое. В этом смысле, — у тебя нет причин для терзаний. Я не получил пока от тебя письма с разъяснениями. Почему ты ждешь меня в Свердловске? Ты знаешь, как там трудно, почти невозможно устроиться с жильем — не говоря уж о том, что там будет совершенно невозможно заниматься живописью. Пощади меня. Конечно, вам трудно представить, какое мучение и ка-

кая попытка для художника невозможность работать в то время, когда он полон замыслов и желаний. 10 месяцев я нахожусь в условиях, которые могут порождать только истерию и скрежет зубный. Я не чаю дождаться того часа, когда освобожусь и измажусь в свои любимые краски. У меня тут есть кое-какие деньги. В июле я, по всей вероятности, выйду. Бумаги уже в суде. Сниму комнату. Бери на август отпуск и приезжай сюда. Это будет по-человечески. А в Свердловске опять будет черт знает как. Напиши мне быстрее. Неужели не наберешь денег на поездку? Целую тебя крепко. Игорь.

14/VI — 72.

— Мира! Я знал, что беда обрушится — и сочувствую тебе в меру всех своих возможных и даже невозможных сил. Я разделяю твою скорбь и твою горе — поверь, мне это все так понятно, что слова, пожалуй, и излишни. Я очень любил твою маму. Она была прекрасной и, к сожалению, редкой женщиной. Я думаю — ей было нелегко с ее мягкосердечием и врожденной деликатностью. Возможно, раньше было иначе — но сейчас, когда вампиризм стал повальным явлением, таким людям жить просто невыносимо. Не думаю, что раньше было намного меньше кровососов. Отсюда и заключаю, как ей было нелегко, поражаясь ее выдержке, умению держать себя в руках. Для этого нужны душевные силы — и немалые. Милая, я не знаю, как тебя утешить. Могу сказать, что есть только один выход — смириться с неумолимостью хода событий. Другого выхода — нет.

— Милая! Будет хорошо, если ты возьмешь отпуск в августе и приедешь с Верой к Яше. Я должен выйти к августу. Домой я хочу уехать в октябре — и буду там долго. По выходе же у меня будут здесь дела и я все равно сразу не смогу приехать. Потом — мне хочется немного отдохнуть. А дома отдых вряд ли возможен (я имею в виду отдых психический). Дома меня начнут ежедневно пилить за то, что не женюсь — и они правы. Что им возразить? Уроды и те имеют семьи и детей, стараются их иметь. Как-то я тебя спросил в сердцах (вопрос глупый) — почему ты так рано вышла замуж? Ты ответила, что боялась слышать от людей насмешки и пересуды относительно девичества. Это тебе сколько было! А у меня уже вышли все сроки. Можешь представить, как изводят меня отец и особенно мать по этому делу, не говоря уж о всяких встречных-поперечных. Из-за этого мне домой хоть не езди. Поэтому-то я и хочу месяц-полтора побыть здесь в тишине и уединении. Я не могу поверить, что ты не можешь сюда приехать. Много ли надо? В общем, я надеюсь, что ты откликнешься на мою просьбу и приедешь. У нас жара, в палате невыносимо душно, я изнемогаю. Отвечай сразу же. Целую крепко. Игорь.

Мира Папкина, тихая, задумчивая, печальная, прошлое вспоминавшая, когда ее навестил я несколько лет назад зимнею снежной порой, ворошиловская Лаура или, может быть, Беатриче, любовь его встарь великая, вручила мне эти письма.

И они говорят о минувшем времени, о тяжелом Игоревом периоде, о начале, еще только самом начале его психушек, страданий, мытарств и бед в семидесятых годах — его, ворошиловским, голосом.

Боролся Игорь с постигшей его бедою, как мог.

Сумел он собрать воедино для этого — всю свою волю.

В который уж раз Ворошилов собирал ее, вновь собирал — и не просто в комок, а в светящийся энергетический сгусток.

Так было надо. И он, как никогда, отчетливо, это здесь понимал.

Воля — это ведь жизнь, для него.

Воля — это победа грядущая.

Надо было и здесь, в аду, выжить, надо было — держаться.

Он писал стихи здесь — пронзительные, полные философских обобщений, и взлетов мистических, и неизбывной горечи.

Если когда-нибудь их удастся опубликовать, то окажутся перед читателем свидетельства духа, который пытались когда-то сгубить, но который, среди испытаний, оказался не просто живучим, и не просто высоким, нет, проявился он в этих стихах во всей своей редкостной мощи.

Дух — сквозь мрак. Да, именно так.

Дух — сквозь боль. Что было, то было.

Он пытался здесь — рисовать. Иногда. Хотя бы — урывками.

Но какое могло рисование быть в больничном его заточении?

Разумеется, это его огорчало и угнетало.

Но куда же было деваться?

Оставалось только мечтать, что когда-нибудь все равно он дорвется до карандашей и до красок — и уж тогда отведет наконец-то душу, с упоением, власть поработает.

А пока что, в стенах психушки, — сам себе задавал он уроки, ежедневные, неустанные, сплошные уроки терпения.

Бесконечные дни и месяцы все тянулись, все шли, в ожидании просвета, хотя бы крохотного, — все равно ведь за ними придет настоящий свет, — впереди.

Дал он знать «на волю», где именно и в каком, увы, положении, — и отчаянном, и опасном, и критическом, — нынче находится.

И друзья, богемные люди, потрясенные этим известием, далеко не все ведь их тех, кого, по своей наивности, по привычке давнишней, искренней, видеть в них всегда только лучшее, Ворошилов считал друзьями, а считанные, но зато проверенные в беде, иногда его навещали.

Приезжал я к нему в Столбовую, привозил ему курево, чай, фрукты, кое-какую еду.

Покупал я то, что, в ту пору, на свои крайне скудные средства, мог, для друга, приобрести.

Но гостинцы скромные эти привезти — считал своим долгом.

Ведь все-таки витамины, для поддержания сил.

Их получить их там, в условиях тяжелейших психушки, бывшей, во многом, еще и похуже тюрьмы, Игорю было приятно.

Какая там никакая, пусть и маленькая, да радость.

Кто и сам побывал в подобных, лучше, хуже ли, все равно ведь непростых всегда, ситуациях, тот меня прекрасно поймет.

А немало перебывало ведь — в психбольницах — знакомых, здравых и талантами разнообразными наделенных щедро, людей.

Важно было — увидеться с другом.

Поддержать его. Подбодрить, по возможности, как уж выйдет.

Сказать ему — важные, нужные, сегодня, теперь, — слова.

Помочь ему непременно надежду свою укрепить.

По-дружески, по-человечески, пусть и недолго, столько, сколько нынче врачами дозволено, здесь, в психушке, с ним рядом побыть.

Ворошилов ко мне выходил — исхудавший, желтый, небритый, но зато с волевым, сечевым, гордым блеском в усталых глазах.

Был он, друг мой, потомок славных запорожцев, казак лихой и орел, — изможденным, измотанным, был — закормленным всякими странными для него, совсем непонятными и, похоже, что просто убойными современными препаратами.

Но он — противился гибели.

Он, созидатель, творец, — противостоял разрушению.

И это видел я сразу — по взглядам его, в которых читалась решимость внутренняя — все препятствия на пути к желанной грядущей победе обязательно преодолеть.

Мы с Игорем потихоньку, так, чтобы нас не слышали шныряющие вокруг санитары, а то и врачи, уединившись где-нибудь подальше от этих монстров, беседовали, — и я с ужасом осознавал, что это за развеселое заведение, эта психушка, где находится, ни за что, ни про что, мой хороший друг.

Все голливудские, без исключения, фильмы ужасов, увиденные в дальнейшем, после развала Союза, когда хлынул к нам бурный поток западной кинопродукции, все книги подобного рода, прочитанные потом, просто меркнут, сходят на нет, при сравнении с нашей, советской, отечественной психушкой.

Все в ней, рядом, на каждом шагу, с каждым взглядом, с каждой минутой, проведенной здесь, обнаруживалось — Босх и Гойя, Данте и Гёте, и Дали, и наш дорогой Николай Васильевич Гоголь, и Булгаков, — да и чего там только не было, что там только в дни приездов моих к Ворошилову то и дело не узнавалось!

Лучше, мой вероятный читатель, мне сейчас помолчать да вздохнуть.

Вытащить Ворошилова из психушки было в те годы нам, друзьям его, невозможно.

Что мы сделать могли тогда, как могли мы тогда это сделать — при полнейшем отсутствии должного, с неременной закалкой, опыта, и не только его, но еще и нужных, крепких, надежных связей, без которых в былые, мглою днесь покрытые, времена, да и нынче, в период нашего затянувшегося междувременья, коль на то уж пошло, и шагу было всем нам не сделать, чтобы не наткнуться вдруг на преграды, а спокойно весь путь пройти?

Оставалось только поддерживать Ворошилова, хоть по-дружески.

Оставалось лишь верить — в его избавленье — в грядущем — от бед.

Он сам себе цель поставил: всенепременно выбраться отсюда, пусть и не сразу, тут уж все и ежу понятно, и придется еще потерпеть, и помучиться здесь немало, но потом, через время какое-то, когда все эти адовы муки, круг за кругом, будут им пройдены, и победа будет за ним.

И — сумел из психушки выбраться.

Через полные всяческих ужасов полтора — жизнь убавивших — года.

Дали, на всякий случай, «группу» ему, как психически больному, долго лечившемуся в соответствующей больнице, нуждающемуся в помощи медицинской, необходимой наперед, на долгие годы, если выживет, человеку.

От пресловутой «группы» этой, читай — от надзора властей и врачей незримого, некуда было деваться.

Этакое специальное клеймо, для вольнолюбивых, независимых от заведенных в Империи, столь давно, что казалось уже — навсегда, порядков тоталитарных, от раб-

ского повиновения кремлевским властям, трагических в своей фантастической стойкости, людей, современников наших, соратников, собеседников, мучеников, героев.

Клеймо, дающее право людям — на жалкую пенсию.

Дело с милицией — как-то само по себе затихло, забылось. Никто о нем почему-то и не вспоминал.

Ворошилов вернулся к нам из психушки слегка постаревшим, но с каким-то особенным, новым, ему открывшимся знанием тайным — о мире и людях.

И — с подорванным основательно — медициной советской — здоровьем.

Всем понятно было тогда, почему оно оказалось подорванным основательно — и кто именно так расстарался, чтобы его подорвать.

О болячках думать всерьез не желал он сейчас, и все тут.

Не желал. Не хотел и слышать. Принципиально. Сознательно.

У него-то — какие годы? Вполне еще молодые.

Некогда, просто некогда чувствовать всюду себя угнетенным, разбитым, больным.

Да мало ли что там болит?

Лучше — этого не замечать.

Стараться — не замечать.

Приучить себя — не замечать.

Здоровье — дело, похоже, поправимое. Так он считал.

Панацея от бед — работа.

Вот что сейчас для него в жизни самое важное.

Вот в чем сейчас для него — спасение настоящее.

И он принялся — работать.

Так мечтал он в психушке проклятой о возможности заниматься искусством — и наконец-то получил — нет, радостней надо сказать об этом, пожалуй, — обрел он эту возможность.

Наконец-то дорвался он до живописи своей.

Наконец он сможет «измазаться в свои любимые краски»!

Ворошилов ринулся к творчеству — в свой мир, в свой лад, в свои ритмы, в животворный свой, рукотворный свет, — словно ринулся в бой.

Только это сражение нынешнее — было радостным для него.

На подъеме сплошном, на одном невероятно долгом, свободном, широком дыхании, на взлете, великолепный в своей одержимости новой работой, в своей вдохновенности, в своей неистовой страсти к художественному труду, создавал он за серией серию, одна сильнее другой, свои дивные темперы, с магией обобщений и всех деталей, и цветные, с празднеством линий, рисунки в смешанной технике, и сангины очаровательные, и рисунки углем стремительные, и рисунки тонкие тушью, и еще, и еще работы, в самой разной технике, сызнова, так и надо всегда, на любом подвернувшемся материале, на картоне, и на холсте, на бумаге, и оргалите, на каких-нибудь там деревяшках, все равно, и работа кипела, непрерывно, в его руках, — и это, следует знать потомкам нашим в грядущем, не фантазия и не сказка, но свидетельство достоверное, и мое, и не только мое, но и многих других очевидцев, — и, скажу вам сейчас нечто важное, из всего вот этого, сказочного, да и только, потока работ, возникающих, чудом, казалось бы, ниоткуда, как по мановению, взмах — и чудо, волшебной палочки, в наикрат-

чайшие сроки, из всего вот этого света, изумительного сияния, из этих образов светлых души, из образов мира, из добытой кровью гармонии — звучала тогда для меня новая, мощная, близкая к музыке, полифония ворошиловская, звучали сразу несколько тем, которые переплетались, аukaлись, приглушались и возникали сызнова, — и образовывали единое целое, синтез, уникальный, сложный, не всеми постижимый, но и прекрасный в душевной своей чистоте, в сердечном порыве, в движении к сути, — и это был совершенно особенный, редкостный, ворошиловский контрапункт, в этом было нечто вселенское, по структуре своей, по размаху, по развитию связей духовных, по срастанию нитей незримых на путях земных и небесных, нечто баховское, грандиозное, — то, что им сейчас разрабатывалось, на глазах у нас, то, что потом получило, в восьмидесятых, не в Москве уже, а на Урале, в долгий, зрелый его период, озаренный любовью, такое — поражающее людское, на столетья, воображение, — удивительное развитие, то, чего словами не высказать никакому искусствоведа, и поэту даже не высказать, то, что, братцы, и называется искони на земле — Искусством, — и вот этим-то словом, кратким и довольно простым, все и сказано.

Семидесятые, трудные и уже легендарные, годы — сердцевиный большой период в небывалом, и по масштабу, и по силе духовной, разбросанном, в наши дни, по странам различным и по многим собраниям, выжившем, состоявшемся и оставшимся навсегда, ворошиловском творчестве, — и на светлой палитре его появились новые, скорбные, иногда и суровые краски.

Но природное жизнелюбие, ворошиловское извечное, вопреки скорбям, изумление перед радостью бытия, — не позволили им затемнить остальные, на редкость чистые, для души крылатой целительные и для сердца людского, тона.

И кто нам скажет, что за век нас ожидает, неуклюжих, вот здесь, где тополиный снег, слетев с висков, зовет в ковчег, бегущий праздных и досужих? Целованные каждым днем, испытанные каждой ночью, играем, гордые, с огнем, доверчивые, гибнем в нем, чтоб с Богом встретиться воочью. Я пью за то, чтоб вся листва, в глазах усталых отразившись, услышав скорбные слова, нашла высокие права, юдоли нашей поразившись. Вот так в зрачке сопряжены и вдохновенье, и виденье с движеньем странницы-весны, где притяжение луны подобно древнему раденью. Так открывается тетрадь, поверив только посвященным, чтоб ран извечных не считать, но только Ангелам под стать, хотя б грядущим быть прощенным. А в небе плачет и поет душа, расправившая крылья, затем, что радость сознает меж озарений и невзгод, хранящих Света изобилье.